



Эдуард Кочергин



фото

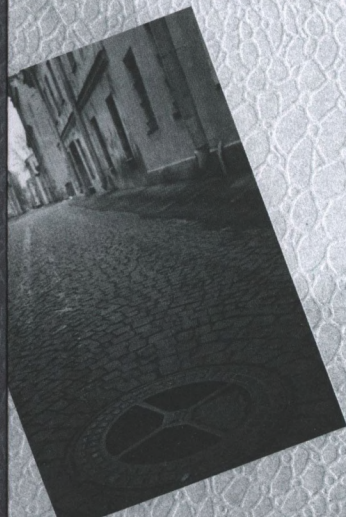
Ангелова кукла







Издательство Ивана Лимбаха



Эдуард Кочергин



Ателова кула

Рассказы рисовального человека



Санкт-Петербург 2003



Эдуард Кочергин ↑

УДК 882

ББК 84(2Рос=Рус)6

К 55

Книга издана при поддержке Комитета по печати
и связям с общественностью Санкт-Петербурга

К 55 **Кочергин Э.** Ангелова кукла: Рассказы рисовального человека. —
СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2003. — 256 с., илл.

ISBN 5-89059-048-0

Рассказы художника Эдуарда Кочергина — удивительное повествование об удивительных людях, оказавшихся «на дне» в 1940-е–1960-е годы. Дети без отцов, юродивые и калеки, нищие и проститутки стали персонажами впечатляющего жизненного полотна, воссозданного пером «рисовального человека».

Сын репрессированных родителей, воспитанник детприемников и спецучреждений НКВД Э. С. Кочергин — народный художник России, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств. Его рассказы — память об оттесненных на обочину жизни людях с их достоинствами и талантами.

В издании использованы фотоматериалы из архивов Э. С. Кочергина и М. А. Бычкова. На форзацах — театральные эскизы автора книги.

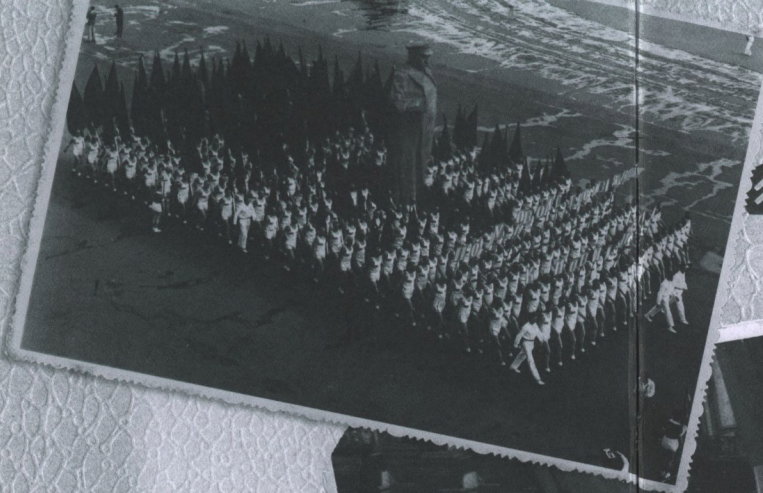
© Э. С. Кочергин, 2003

© М. А. Бычков, дизайн, макет, 2003

© Издательство Ивана Лимбаха, 2003

I





*О, мама Броня,
возьми меня в штаны*

Первое осознанное воспоминание в моей жизни связано с толком. Может быть, я часто болел или еще что другое...

Родился я с испугу: отца Степана арестовали за кибернетику, и мать меня выкинула на два месяца раньше.

Мне нравилось лежать на кровати и путешествовать, глядя на тройной фигурный карниз, который украшал высокий потолок в моей комнате. Я мог часами рассматривать фантастические изгибы лепестков его странных листьев, мысленно путешествовать по извилистым пустотам между ними, как по лабиринту, и в случае ненастья за окном укрываться под самыми крупными из них. А в светлые моменты, и особенно при солнце, я с удовольствием переплывал по глади потолка в его центр, на такую же пышную барочную розетку, и по старой люстре с тремя ангелочками, каждый из которых держал по три подсвечника с лампами, спускался, усталый, к себе на кровать.

Второе воспоминание мое связано с крещением и костелом на Невском. В нем участвуют уже мои ощущения. То есть я не понимаю, что происходит, но поглощаю происходящее. Дяденька-ксендз что-то со мною делает, мальчишки в белом со свечами размахивают и дымят блестящими металлическими игрушками, похожими на елочные. Много белого, очень много белого — одежд, цветов, света. Запах дыма незнакомый и да-

лекий, и мне кажется, что все несколько торопятся и в этом есть что-то неестественно тревожное. Я, обыкновенно очень улыбчивый, даже подозрительно улыбчивый для своей матки Брони, — не улыбаюсь.

Да, еще вспомнил о ступенях, ведущих в костел. Это было мое первое испытание в жизни (арест отца я ведь не помню). Меня самого почему-то заставили преодолевать их — с огромнейшим трудом, всеми способами: ногами, на коленках, с помощью рук, перекатами... Видать, в ту пору я был совсем мал.

Это первый в моей жизни «светский выход», мой первый в жизни театр, мой первый в жизни свет, первая музыка и первая, еще неосознанная любовь.

Если бы этого не было в памяти, наверное, судьба моя стала бы иной.

Шел уже 1939 год, когда я наконец заговорил. Заговорил поздней осенью и только по-польски. Ведь matka Броня у меня была полька, а русский отец сидел за кибернетику и шпионство в Большом доме. До этого я только улыбался, когда со мной пробовали заговаривать, да и вообще улыбался больше, чем было нужно. Сiju, обмазанный всем, чем можно, и улыбаюсь... А тут вдруг заговорил сразу и много. Matka Броня, конечно, обрадовалась и даже устроила польский обед: с чевицей, морковкой и — гостями.

На следующее утро за нею пришли. Сначала вошла в коридор дворничиха Фаина, татарка, за нею вежливый военный с папкой, а за ним еще кто-то, не помню. Вежливый военный стал спрашивать ее фамилию, имя, несколько раз спросил, полька ли она, а остальные стали рыться в вещах, столах, кроватях. Я попытался им сказать, что клопов у нас нет, но картаво и по-польски. Matka попросила Фаину позвать Янека с первого этажа, чтобы они меня забрали к себе. Когда Янек меня забирал, Броня благословила Matкой Боской и поцеловала ме-

ня. Феля, мой старший брат, все время сидел у окна на стуле и молча раскачивался. Он уже был странным к тому времени.

Фаина, татарка, «пожалела меня, недоноска», и отдала полякам с первого этажа «на хранение». Вскоре она же привела и Фелю, очень расстроенного: его не взяли в Большой дом, сказав, что для шпионов мы еще малы, но погодя отдадут нас в какой-то приемник.

Да, я был очень мал. У деда Янека, поляка-краснодеревщика, после ухода матери я путешествовал под многочисленными столами, диванами, кушетками и очень даже неплохо изучил все подстолья и прочие «под», а однажды в одном из подстольных зазоров обнаружил что-то спрятанное ото всех и был наказан.

Надо сказать, столярное дело, которым занимался Янек, мне очень нравилось. Особенно я полюбил стружки. Они были замечательно красивы и вкусно пахли. Я даже пробовал их есть.

Помню еще, что Феля, мой старший брат, уже после того как заболел от побоев в школе за отца-шпиона, подолгу стоял у большой географической карты Янека, водил по ней пальцем и беспрестанно искал, куда же увезли отца и матку Броню. С тех пор у меня на всю жизнь осталась какая-то неприязнь к «школе». А Янек говорил, что увели отца и матку в Большой дом.

И что это за дом? И почему туда уводят шпионов?

Я представлял, что в глухом лесу с высочайшими деревьями, как в сказке «Мальчик-с-пальчик», стоит Большой дом, где живут братья и сестры — шпионы. А что такое шпионство — никто не знает, кроме них. Это большая тайна. Поэтому и лес густой, и дом Большой. А таких малявок, как я, туда не берут, а мне все-таки хочется. Я же остался один, брат мой Феля вскоре умер в дурдоме от воспаления легких.

И меня сдали в казенный дом, и жизнь моя с тех пор стала казенною. Незнание русского заставило меня снова замолчать, так как «пшеканье» мое раздражало многих сверстников и

*О маме Броня,
которая меня в шпионы*

было опасно для меня: они думали, что я их дразню, и я снова стал надолго немым. Нас перевозили из города в город, с запада на восток, подальше от войны, и в результате я оказался в Сибири, под городом Омском. Все вокруг меня говорящее пацанье громко кричало по-русски и даже — чтобы я чего-нибудь понял — ругалось, а иногда дралось: так я изучал русский язык и до четырех с половиной лет вообще не говорил. Соглашался со всеми, но не говорил. Говорить по-русски я стал неожиданно для себя уже в войну.

Нас кормили из кружек — тарелок не было. Были только металлические кружки и ложки. За столом сидело по шесть человек — шесть кружек, седьмая с хлебом, нарезанным брусочками, торчащими из нее вертикально. Суп, второе, если было, чай — всё из одной кружки. И это считалось нормальным. В столовку пускали, когда все кружки стояли на столе, а до этого орда голодных пацанов давилась у дверей. Открывались двери, и мы, как зверюшки, бросались к своим кружкам. Однажды вместо заболевшего шестого пацана за наш стол посадили прыщавого, сопливого «залетку» (чужого, не нашего), и этот пацан, обогнав нас и неожиданно облизав на виду у всех свой грязный палец, поочередно стал макать его во все наши кружки. И вдруг я что-то громко произнес по-русски — сам не понял, но что-то связанное с матерью. Грязный пацан застыл в изумлении, а остальные испугались, ведь я же не говорил, был глухонемым и вдруг заговорил, да еще так. С тех пор я стал говорить по-русски и постепенно забывал свой первый язык.

Но я отвлекся от главного, от того, что нас, пацанов-«дэпэшников», в ту пору мучило, какие вопросы решали мы между собой:

— Вожди могут быть людьми или должны быть только вождями, и обязательны ли им усы?

— Кто лучше: шпион или враг народа? Или одинаково все это? Мы же — все вместе.

Знакомились с вопросов:

— Ты шпион?

— Нет, я враг народа.

— А что, если ты — и то и другое, как, например, я?

И еще:

— Почему товарищ Ленин — дедушка? Ведь у него не было внуков. Может быть, потому, что у него борода, или потому, что он умер?

— Товарищ Сталин — друг всех детей. Значит, и наш друг?

Наш старший пацан даже не выдержал и спросил воспиталку про Сталина. Она сначала страшно испугалась, а потом схватила его за шкварник и потащила к дежурной охране — мы слышали, как он там сильно плакал. И еще было много, много вопросов.

Лично я считал, что шпионство — это не так уж плохо. Не мог же быть плохим мой русский отец Степан. Он был очень даже хорошим и красивым — посмотрите на фотографию. А милая моя матка ласково пела мне колыбельные песенки: «Спи, дитя мое родное, Бог твой сон храни...» или:

Z popielnika na Edwasia
Iskiereczka mruga,
Chódź! Opowiem ci bajeczkę,
Bajka będzie długa*.

О, матка Броня, возьми меня в шпионы. Я бендем с тобан по-польску розмавячь.

* Искорка из поддувала
Эдвасю мигает.
Манит, манит, рассказать
Сказку обещает (польск.).

Машка Коровья Нога

Густой рассказ

В лютые времена, когда из-за двоих усатых вождей в Европейской России смертоубийственно дрались миллионы взрослых людей, в нашем сибирском далеке все было покойно. Жили по режиму, как положено: побудка, зарядка, мытье рож, завтрак, ученье или работа, обед, сон, промывка мозгов, ужин, сортирный час, снова сон — как и предписано было последним пенсненосцем Советского Союза, маршалом НКВД Лаврентием Павловичем Берией.

Все было складно, ладно в нашем образцово-показательном детприемнике. Дети осужденных родителей назывались воспитанниками, а надсмотрщики и надсмотрщицы — воспитателями. К охраннику мы обращались «товарищ дежурный», а карцер красиво назывался изолятором. Надо всеми, как звезда на фуражке, торчала начальница, Жаба. Начальница из начальниц: «со спины не подойдешь, а спереди упадешь». «Женские люди» в этих заведениях не отличались ни чадолюбием, ни добротой, а чиновачальные — особенно.

Идеальную картинку нашего «процветания» портила фигура полоскательницы-посудомойки, по прозвищу Машка Коровья Нога. Свою кличку получила она от рождения: на левой ноге ее вместо полной ступни была раздвоенная пятка, копытце. Славилась тетка Машка тем, что уж больно была ругачая и винцом баловалась.

У Машки Коровьей Ноги была помоганка — молодуха Нюшка, или, по-местному, «Нюрка-молодуха, ласковое брюхо». Толстая, но еще недопеченная девка, с маленькими бегающими глазками на розовом мякише лица. Тетка Машка, почему-то обращаясь ко мне, малявке, и хитрым глазом глядя на томную походку «ласкового брюха», говаривала: «Смотри, Нюшка-то как пышет, струмент ищет, а, как говорят наши большевички, „кто ищет, тот всегда найдет“». Не все мне было понятно в ту пору, хотя до многого я уже доходил.

Среди обязанностей этих женских служителей были разные подвиги: уборка и мытье камер (извините, палат), коридоров, лестниц, сортиров, параш, изолятора-карцера, мытье посуды... Тетка Машка из-за худобы ног и, по ее выражению, «тяжкой жизни в ширинках большевиков» стояла на мытье посуды, а молодуха с нашей помощью справляла все остальное, показывая не без гордости свои голые ляжки. Охранники зырили на нее плотоядно и обохотили бы уже давно, если бы не Коровья Нога.

Мытье лестницы называлось «Нюшкино кино». Из всех углов старшаки наши скатывались на площадку вниз, ухватывая свое, пока не выгоняли их оттуда дежурные или прискакавшая Машка.

Иногда нас строем водили с воспитательными целями на какое-нибудь предприятие. Этот выход в мир был единственным для всех развлечением, но ждали мы его с нетерпением еще и потому, что «дорога голодного вора кормит», — глядишь, можно чего-нибудь поднадыбать.

Первое мое воровство я даже не осознал, не заметил. Водили нас, мальков, в какую-то контору; что там было, что делали — не помню. Помню только картинку: против окна, спиной ко мне, длинный какой-то человек, наклонясь, почти лежа на столе, что-то писал или чертил на огромном листе белой бу-

маги. Справа от него лежала пачка красиво отточенных цветных карандашей. Я их видел впервые после своего короткого детства. И я не помню, каким образом они очутились за пазухой моего казенного бушлата.

Это было мое, принадлежало мне, и только мне. Я нес драгоценную ношу под мышкой и думал только о том, как бы сохранить это единственное мое.

В палате мне удалось незаметно засунуть коробку между простыней и матрацем. Ужиная, все боялся, что кто-нибудь стибрит мое сокровище. Ночью, когда все пацанье засопело, я лезвием бритвы подпорол шов тюфяка и засунул карандаши внутрь. Осталось только добыть нитки и «воровским швом» зашить дыру так, чтобы в любой момент, дернув за узелок, можно было быстро вскрыть матрац.

Все шло хорошо. На другой день к вечеру у меня уже была нитка, и утром, во время завтрака, в опустевшей палате я хотел проделать эту операцию. Но на сей раз жизнь мне не улыбнулась, а даже наоборот.

Наутро, после побудки, явилась охрана с воспиталками, всю пацанву в исподнем выстроили в большом проходе между кроватями и устроили очередной шмон под руководством опытного в этих делах старого дежурного по кличке Гиена Огненная. Он-то и вытряс из моего тюфяка карандаши.

Я загремел в карцер,— конечно, после предварительной обработки. Мне тогда, сами понимаете, не много было надо. После второго тумака я перекрестился и потерял сознание. Крест мой и остановил дежурных великанов от дальнейшего смертоубийства, что-то зашевелилось в них. Меня оттащили в изолятор и бросили на драный мешок, набитый сеном.

Очнулся я на руках у тетки Машки. Она осторожно, мягкой влажной тряпкой обтирала мне лицо и крутым матом несла всех местных «генералов» и «генералиц»:

— У, нелюдь проклятая... сучья падаль... рабы души... вместо немчуры с мальками воюют! Нечисть дьявольская мальков не трогает, Бога боится, а вы кто? Из какой скорлупы вылупились, какая тварь вас высиживала?! Дезертирщики, рожи легавые! Хайла-то на дитячих пайках отъели и беситесь от безделья... Плакатишку начертили бы: «Малявок бить — не немца рубить» — да и сидели бы под ним, в тряпочку бздели, псы государственные... А эти воспиталки, фу, прости Господи, никто их, шалав, не дядит, так вот они и лютуют над вами, поскребышами. Винцо бы лучше красное пили, а не кровь людскую, фараоновы шаркухи...

— Обидно ты ругаешься, Коровья Нога. Не боишься, что с ругани своей упадешь да более не поднимешься? — проворчал старик охранник.

— Молчи уже ты, старый вертухай, отсосал у всех начальничков все, что сосетя, да и шел бы ты, нечестивец, на пенсион грехи отмаливать да каяться — геенну огненную-то давно заработал... Боюсь? Окаянные! Да забоись вас — вы сразу освежете. Сами-то в боязни родились, испугом живете, рабами умрете, куреды треклятые. А падать мне что — куда? Я ж низко сижу да снизу гляжу, а коли стукнуть на меня вздумаете, так я вас с собой на этап ковылять потяну, а как это сделать, сами научили. Сами ссучились и из всех сук сделали...

— Да хватит тебе, замолчи, Машка, тяжело больно и так, а малек-то твой отойдет, крепче головой станет. Иди к нам, выпьем! — взмолился Гиена Огненная.

Заведение наше, то есть детприемник НКВД РСФСР, в народе называвшийся «детскими „Крестами“», находился в бывшей предварилровке — тюрьме предварительного заключения, в ту пору ненужной, тесной в новых обстоятельствах для взрослого народонаселения.

Карцер помещался в самой малой камере. На стене его кем-то давным-давно была выцарапана странная надпись: «Кому —

татор, а кому — лятор», а на двери был криво нарисован синий крест.

Я спросил тетку Машку, принесшую мне жратву: «Почему синий крест, а не красный?» — «А леший его знает... Может, он-то и намалевал. Видать, красный цвет ему не цвет — не советского он исповедания. Да и не лечить вас сюда сажают, а синеть от разных терпений. При красном-то кресте — лечить бы пришлось».

А карандаши снились мне постоянно, пока уже на воле, в Питере, через много лет не купила мне их матка Броня после своей отсидки за «шпионство» на заработанные мытьем полов гроши.

Медный всадник

Спецдетприемник НКВД РСФСР, куда меня сдали после ареста родителей, эвакуировали в начале войны из Ленинграда в город Омск. Омск среди зеков и лишенцев всякого рода расшифровывался как Отдаленное место ссыльных каторжников.

Но наше заведение находилось не в самом Омске, а в шестидесяти километрах вверх по Иртышу, в бывшем довоенном пионерлагере. Руководила этим заведением тетенька-начальница, имя и отчество которой в моей памяти заслонила данная ей в детприемнике кликуха — Жаба.

Обзывалку она заработала многими своими качествами и отличиями. За любовь к зелено-болотному цвету в собственной одежде, за тройной подбородок и рыхлую полноту, не подходящую к тому голодному времени, и за странную особенность — подпрыгивать и топать на провинившегося сразу двумя грузными ногами, вытаращивая при этом свои круглые лягушачьи глаза до огромных размеров. Служа в ведомстве Лаврентия Павловича Берии, она по совместительству художничала, то есть писала картины масляными красками. В ее кабинете-мастерской всегда стоял огромный мольберт с холстом, всегда пахло скипидаром, красками и табаком — она курила.

В ту пору я уже несколько лет болел легкими и кашлял иногда совсем не вовремя. На построении в честь победы над Германией я сильно раскашлялся и помешал торжеству, за что

был выведен из рядов и отправлен в ее кабинет. Там на мольберте стояла картина: улыбающийся Сталин в белом кителе при всех наградах встречается с пионерами в яблонево́м саду. В некоторых пионерах я узнал своих товарищей-воспитанников — детей врагов народа. Вернувшись в кабинет, она, не взглянув на меня, стоявшего уже час, села за мольберт и стала писать траву под ногами у Сталина. Минут через двадцать вошел главный охранник, Чурбан с Глазами, по местному определению, и Жаба велела посадить меня в карцер на сутки.

Эту начальницу не то чтобы боялись, но ненавидели и старались избегать встреч с нею. И только наша посудомойка, тетка Маша по прозвищу Машка Коровья Нога, могла возражать ей и даже позволяла себе ругать ее. Подвыпив малость, говорила о начальнице: «Какая она художница — худо жнет, и дождь идет. Жаба, одним словом». С ее легкой руки и стала наша энкавэдэшница Жабой. За эти худые слова Жаба угрожала зашить Машке рот и выбросить на улицу.

Машка Коровья Нога имела в собственности козу, которая всегда паслась на поляне позади кухни и кроме травы, листьев и крапивы ей перепало кое-что еще. Мы тоже часто околачивались там и конкурировали с рогатой. К тому же у нас, пацанов, было замечательное развлечение под названием «оседлать козу». Вы не думайте, что это просто, — совсем даже не просто, а очень сложно. Я, к примеру, ни разу не смог ее оседлать. Но я-то не в счет — слишком был тощ и легок. А другие — нормальные — пробовали, но получалось мало у кого. Коза брыкалась своим задком, да так сильно и резко, что многие пацаны взлетали в воздух и падали в траву, а на совсем неловких оказывались следы ее рогов. И все-таки забава эта была для нас очень привлекательной. Удачливее всех вскакивал на козу Петруха-старший (у нас имелось еще двое Петрух — второй и третий.)

Завистники говорили, что у него была тяжелая задница. Но я заметил за ним и некоторую ловкость: он, разбежавшись, хватал козу за рога и резко прыгал на нее. Задние козьи ноги даже подгибались при этом. Одним словом, Петруха слыл лучшим наездником, мы им даже гордились и глубоко его уважали. Он тоже сознавал собственную значительность и был признан всеми пацанами «старшаком». Да и годов ему стукнуло уже десять.

Однажды, когда мы все паслись около кухни и, как всегда, играли «в козу», на наши задворки неожиданно из двери кухни вышла начальница Жабa. А на козе в этот момент восседал в позе победителя Петруха. Энкавэдэшная художница быстро схватила его за ухо, сняла с «коня» и, выворачивая ему ухо, повела к себе в кабинет-мастерскую, приговаривая квакающим голосом: «Я тебе сейчас, Медный всадник, покажу такую козу, что ты узнаешь, почем лихо стоит». Мы в ту пору не знали ничего о Медном всаднике, никто из нас не видел его никогда, даже во сне. Но уж больно подошел данный Жабой титул нашему старшему Петру. С тех пор он стал прозываться у нас Медным Всадником.

Вот с ним-то, титулованным, я и бежал из детприемника на родину — в Питер, то есть Ленинград. Точнее, это он бежал со мною, ведь я был тенью. Прозвище мое было Тень. Пацанье окрестило меня так за удобу и прозрачность. Он был Всадником, да еще и Медным, а я всего-навсего Тенью, но мы вместе бежали в мой Ленинград из Чернолучей, что на Иртыше, под городом Омском.

У него было две причины для побега. Первая, конечно, — Жабa, которую он ненавидел за унижение и боль. А вторая, главная, — он недоедал в детприемнике, как сам считал, хотя ел намного больше, чем мы. Но ему казалось, что в другом месте, особенно в Ленинграде, кормить будут куда лучше, так как

там в войну голодали, а сейчас, по слухам, там все хорошо едят. А раз мы тоже голодали — нас обязательно сытно накормят.

Петруха был талантливым добытчиком и обладал колоссальным нюхом на еду. Необъяснимо, как он чувствовал, куда надо двигаться, чтобы оказаться свидетелем поедания съестного и к этому присоединиться. Меня он успешно выставлял как «жертву голода». Думаю, что и в побег взял из-за моей дистрофии, чтобы на ней зарабатывать — глядя на «тень», жрущий не мог не поделиться с нами. А как только мы получали свою долю, она с невероятной быстротой исчезала в Петрухином желудке. Я чаще всего был наблюдателем, а если и получал часть еды, то ровно столько, сколько требовалось для продолжения жизни.

Уговорить меня бежать ему ничего не стоило. Война кончилась, и я думал, что моя matka Броня уже там, в Ленинграде, и мне можно вернуться к ней. И я снова буду говорить польски. К тому же Петруха был Всадником, а я — Тенью. И мы бежали вместе. Бежали на барже, доставлявшей в разные места по Иртышу продукты. «Детское заведение НКВД» тоже получало с нее свою часть с нашей помощью. Мы переносили продукты на себе от пристани до кухни и прекрасно знали устройство баржи изнутри.

Путешествие на барже было малоинтересным. Мы прятались в трюме, среди пустых ящиков из-под продуктов, и спали вместе с крысами. Крысы теплые, и сытые — не опасны... Всадник мой, быстро съев взятую с собой еду, несколько раз пожалел, что бежал от пайки, но было поздно.

После разных мытарств — голода, холода — мы приплыли в «отдаленное место», Омск. Талант Петрухи привел нас на омский вокзал. Он нутром чувствовал, что там будет жратва, что именно там нас накормят и мы двинем по железной дороге дальше на запад, в мой Питер. Пришли мы с ним не на сам

вокзал, а на сортировочную его часть и оказались среди составов с солдатами, которые, как выяснилось, ехали после немецкого фронта на японский. К ним присоединяли омские вагоны. И между составами неожиданно натолкнулись на странно веселый, не похожий на другие «пьяный» поезд. За зарешеченными окошками торчали бритые солдатские головы, с жадностью рассматривающие все, что происходило на улице. Только один вагон-теплушка был открыт, и в нем шло буйное веселье. «Наверное, начальственный вагон», — подумали мы.

Из этой-то теплушки и заметили нас, вернее, сначала меня: «Смотри-ка, залетка какая чахоточная появилась», — услышал я оттуда. Другой поддатый дядька спросил: «Пацан, а пацан, кто же тебя так охудил?» Петька тут же за моей спиной пожалился, что мы оголодали, — нет ли у дядек поесть нам? «Смотрите-ка, какой вдруг шустрый румянец объявился! Эй ты, козлик, чего за щепку-то прячешься? — прохрипел старший из них. — По тебе не видно, что ты оголодал. Выдавил из дружка все, а сам ничего себе, пухленький. Прямо козлик! Ну, иди сюда, ладо мое, забирайся к нам! Накормим всласть. И заодно „чахотку“ забирай свою!»

Все они, одетые в солдатскую форму, чем-то отличались от других, нормальных военных. Да и вели себя в теплушке по-хозяйски, видать, главными были в «веселом» составе и «панствовали», то есть пили, играли в карты, не обращая никакого внимания на охрану.

Во время кормилки я заметил, что они плотоядно рассматривали Петра, даже пощипывали его, хлопая по заднице и приговаривая: «Задок-то какой отрастил аппетитный, а!» Мне стало не по себе. Почувствовав неладное, я несколько раз толкнул своего дружка, но он был занят едой, и только едой. У дядек на руках я увидел татуировки, и мне еще показалось, что их игра

Медный всадник

в карты связана была с нами, то есть с ним, с Петрухой, — мой подозрительный кашель их отпугивал. Я еще раз толкнул его в бок и предложил сходить по нужде. Он с жадностью продолжал есть. Отчаявшись обратить его внимание на опасные странности, закашлявшись, я попросился по-малому (мол, близко, под вагоном) — и бежал. Бежал в настоящем испуге от этого кормления, бежал от слова «козлик», страшноватый уголовный смысл которого понял вскоре после этой истории. Бежал от этого лиха, бежал в Ленинград, не зная, что там есть свой Медный всадник. Вскоре мне повезло — на товарняке я рванул в Челябинск. Много позже, во взрослом состоянии, от одного военного человека я услышал, что маршал Малиновский, командовавший Забайкальским фронтом в Японскую кампанию, сам в прошлом блатной, в первую ночь войны с самураями без предупреждения наших верхов, без артподготовки, которую ждали японцы, бросил под утро на них отобранных в наших тюрьмах и лагерях матерых зэков-уголовников. Они финками, без единого выстрела, перерезали японцев, спавших в первой линии окопов Квантунской армии. Говорят, что почти все зэки погибли от наших же пуль, но дело свое сделали и определили успех наступления советских войск. Может быть, этого и не было, но, услышав рассказ военного очевидца, я вспомнил страшный «веселый» эшелон на омских путях и Петруху-всадника, превращенного в «козлика».

А настоящего Медного всадника я увидел только через семь лет.

Томас Карлович Японамать

Знаете ли вы, что такое детский приемник НКВД? Мне пришлось маяться в нескольких. Каждый был чем-то примечателен. Если память мне не изменяет, в детприемник города Молотова я попал в 1948 году.

Я бежал из Сибири в свой Питер в 1945-м, бежал медленно, потому что меня по дороге все время забирали, а в детприемники сдавался обычно к осени, когда начинало холодать и наступало время ученья.

В моей биографии молотовский детприемник отмечен одним замечательным человеком. Была там, разумеется, охрана, были воспитатели, экспедиторы и разные другие должности, называемые у нас по-своему: цербер, вертухай. А самым заметным для нас человеком и самым, пожалуй, добрым (при всей мрачности и молчаливости) считался помхоз-кастелян Томас Карлович. Чухонский эстонец по национальности, а по прозвищу Японамать. Действительно, если он ругался, то говорил только это слово.

Естественно, меня заинтересовало, почему он так ругается. Стесняется или не знает другого? Раньше я такого нигде не слышал. Ходила легенда, что он жил в Японии, тоже в каком-то приемнике. Такое соединение — эстонец, живший в Японии, — меня, я помню, страшно интриговало. Может быть, я так и остался бы со своим любопытством, но получилось, что

заболел цербер, с которым мы ходили в баню. И самый большой начальник, помхоз, выдававший мыло и полотенца, этот большой белотелый старик, сам повел нас.

И вот здесь я ошалел. Это был мой первый Эрмитаж. Когда он разделся, я увидел то, про что старшие сидельцы-детприемовцы уже знали, и слух про это ходил, но какой-то неясный. Я увидел, что от пяток до шеи он весь выколот цветной тушью. И как выколот! Фантастические гравюры на коже живого человека — Сальвадору Дали не снилось! Я до этого, начиная с 1941 года, когда у меня появилась память, видел много наколок, но очень грубых, варварских. А здесь я увидел что-то, что, казалось, сделано не людскими руками. Гравюра! Это были потрясающей красоты драконы, звери, узкоглазые люди с крыльями, горы не горы, незнакомые мне пейзажи... Это была фантастика! Все замерли. И стали вокруг него ходить. Он уже к этому привык, мылся, не обращал внимания, а если ему мешали — просто отодвигал нас своей рукой в татуировке и произносил: «Японамать».

Он был выколот японцами от пяток до шеи и кругом по всему телу, каждый сантиметр его гладкой белой кожи был художественно обработан. Не могу объяснить, как это произошло, но я к нему прилип. Он не считался цербером или фараоном, и по законам этой детской тюрьмы с ним можно было общаться. Мы подружились. Я узнал его историю. Молодым парнем он попал в плен, будучи участником русско-японской войны. И просидев там два или три месяца, тоскуя по дому, он продал свое тело японской татуировальной школе. За то, чтобы они его выкупили. Он продавал им тело — они платили армии за его свободу. Наколок у солдат Томас видел много и согласился — подумай! На его теле защищали дипломы. Тело было большое, белое, хорошее, его кололи тщательно, старательно, по всем правилам. Пока его кололи, он узнал всю их техноло-

гию. Это не больно. Культура японской татуировки заключается в том, что они изучают анатомию кожи, ее поверхность, сосуды, капилляры. Они не рвут кожу, как наши, они работают маленькими, тоненькими иголочками: раздвигают кожу, ввинчивают в поры иголки, не разрушая ткань, и вводят туда тушь — хорошую, натуральную, на спирту. Заразиться невозможно. Делают это так, что человек кайфует, засыпает, ему приятно. Такая своеобразная иглотерапия.

И вот довольно долго эстонец Томас Карлович кайфовал, а когда он весь был исколот, его отпустили домой. Все бы хорошо, но как только он переплыл из Японии на наш тихоокеанский берег и, попав в баню, снял впервые рубашку, — его начали окружать толпы. Каждый раз это повторялось: его рассматривали, как диво, за ним шел слух, ему не давали пройти и требовали, чтобы он разделся и показался. Это было ходячее кино. Он не знал, что делать. Стал носить свитера или рубашки с высоким воротом, чтобы никто не видел. Стал тайком мыться. Постепенно он двигался по Зауралью, но кто-то опять замечал его наколки — и все начиналось сначала.

До Эстонии Томас не дошел, потому что понял: если придет — станет притчей во языцех, по всем хуторам будут смеяться, а родители не примут, выгонят. Так он и застрял в Перми, где приютила его сердобольная пермячка, но и там он не мог устроиться на порядочную работу и кастелянил в детприемнике, где пацаны были для него безвредны. Гулливер по сравнению с нами, он мог просто отодвинуть любого рукой. Так он там и прожил жизнь. Как ни парадоксально, работая в исправительном заведении, фактически служа в НКВД, подрабатывал тем, что колол урок японским способом, но уже упрощенно. Иголки у него были хорошие, и делал он эту работу любя, тщательно. Очень качественно. Сюжеты, правда, были отечественные — крест с могилкой, «Не забуду мать родную»,

орлы. То есть все, что просили воры в законе. Работал в НКВД, а подрабатывал в «малинах»... Когда его что-то раздражало, ругался. Кроме слова «японамать», именно от него я услышал второе незнакомое выражение — «японский городской».

Это был мой первый учитель рисования. Он научил меня делать наколки и подарил иголки. И японским способом, но уже сильно адаптированным я выколол в колонии восемью иголками семерых «усатых». Я спасался этим, кормился этим в блатном мире, потому что сил у меня особенных не было, звероподобия тоже. Во всяких передрыгах блатной жизни спасало ремесло, полученное от Томаса Карловича.

Я выкалывал портреты вождя. В 1940-х—начале 1950-х годов была у воров легенда, что Сталин — пахан, их человек, что он вышел из воров. Я не верил этому, считал, что об этом говорить можно только шепотом, а они гордились, любили его и выкалывали вождя. А если они попадали в лапы мусоров и их там начинали бить — они рвали рубашку на груди, а там — Сталин! Бить по Сталину было опасно, напарник мог «стукнуть» — и хана. Вот такие две причины. Впоследствии версия о пахане оказалась правдой, мы узнали, что Сталин действительно «вышел в дамки» из уголовников, мокрушников-боевиков.

Из моих «наколотых» вождями, наверное, уже никого нет в живых. Последнего, уркагана Толика, я видел лет двадцать назад. Толя Волк (Волков) сидел много раз, потом завязал: руки стали не те. Не знаю, жив ли.

Как закончил жизнь Томас Карлович, мне тоже неизвестно. Весной 1949-го я бежал из Перми в Питер, но попал туда только в 1952-м.

Поцелуй?

Вы, может быть, помните сороковые послевоенные годы. Помните барахолки в городах и городишках, лавину «обрубков», «тачек», «костылей» и прочего искалеченного войной люда в шалманах и на улицах. Помните, конечно, голодные 1946, 1947 и 1949-й годы и разного вида нищих, малых и старых, кочующих по стране. Нищих, специализировавшихся по подвижным составам: они ходили по железнодорожным вагонам со своим репертуаром и разного рода обращениями к победившему народу. Был даже, если можно так назвать, особый жанр вагонных песен, в основном жалостливых, вроде «В одном городе жила парочка, он шофер, а она счетовод, и была у них дочка Аллочка, и пошел ей тринадцатый год...»

А помните эти деревянные вагоны, густо крашенные масляной краской и на всю жизнь впитавшие ее запах и запахи курева, еды и пота? Вагоны, набитые снизу доверху людьми, мешками, корзинами, деревянными чемоданами, с тусклым мигающим светом в купе и проходах, с бесконечными нищими калеками, которые менялись с каждым перегонном. Много их довелось мне увидеть за мою опасную практику скачка, то есть поездного вора...

Жизнь загнала меня в угол, и после побега из детприемника стал я постепенно, с восьми лет, приобщаться к уголовной

цивилизации. Но так как главной целью моей все-таки было возвращение на родину, в Питер, а из моего далека попасть туда в ту пору можно было только по железной дороге, — то со временем, к двенадцати годам, я освоил профессию, связанную с поездами, то есть стал скачком. Поначалу, по молодости лет, «помоганцем», или, из-за худобы и гибкости, — «резиновым мальчиком», который мог проникнуть в самую малую щель.

Из разного побирающегося люда в памяти моей застрял один необычный бессловесный «обрубок». Расскажу уж по порядку, как полагается.

Поезд мой, если не ошибаюсь, был «Москва–Рига» (я мечтал попасть в Ригу, потому что шли разговоры, будто там можно устроиться юнгой). Я мирно спал в этот раз — естественно, на последней полке плацкартного вагона, среди мешков и чемоданов, привязавшись ремнем к металлической трубе, чтобы, случаем, меня ночью не сдвинули с полки. Поезд приближался к станции Остров. Позднее осеннее солнце вдруг осветило потолок вагона и заставило меня проснуться. Я проспал, что было совсем нехорошо, так как я должен был затемно спуститься вниз и незаметно покинуть вагон, спрятавшись в туалете, тамбуре, «собачьем ящике», кочегарке или где-нибудь еще. Мои старшие напарники наверняка уже оставили свои полки, а я...

Очень осторожно отвязав себя от трубы, я из-за корзины посмотрел вниз. Вторые полки еще, слава богу, спали. Но нижние — женщина и девушка — встали уже, явно готовясь сойти в Острове. Мой взгляд застрял на девчонке, а может быть, уже и девушке молочной спелости и красоты необыкновенной. Так мне показалось. А может быть, виновато солнце, которое светило прямо на нее. Она сидела против окна, спиной

ко входу, на чемодане, зачехленном холстиной с латунными пуговицами от шинели, и ела картошку из капустного листа с огурцом и хлебом. Она была видна мне сверху. Ее русые волосы, заплетенные в косички, золотились утренним солнцем. Мне запомнилась очень красивая высокая шея и светящиеся на солнце ушки с маленькими прозрачными серьгами-слезинками. Матушка ее, отвернувшись от стола, что-то вынимала или, наоборот, складывала в свою сумку и была этим чрезвычайно занята. Напротив — на боковых полках — еще спали, закрывшись от солнечного света.

Я уже хотел подлезть под трубу и посмотреть, что делается в соседнем отделении, как вдруг в нашем проеме показалась огромная фигура «обрубка», одетого в военную форму. За подол стираной гимнастерки безрукого держался совсем маленький пацан-поводырь. Совершенно белый, прямо альбинос. Волосенки у него были настолько светлые, что поначалу мне показалось, будто он седой. На нем был самопальный бушлатик с неправдоподобно огромными пуговицами, словно с какого-то гулливера.

Голова солдатика-великана была расколота по диагонали, да так страшно и безжалостно, что смотреть на нее было невозможно, а уж я повидал в своей жизни к этому времени! Шрам, если это можно было назвать шрамом, проходил щелью почти от правого виска вниз через все лицо, уничтожив нос, то есть соединив рот и нос в одно отверстие с остатками лохматых губ. Сдвинутые, но живые куски мяса — разбитые глазницы, правого глаза не было. Война. Это было воистину лицо войны. Только случайность или Господь Бог и молодость оставили этого парня жить. Более страшного живого человека я никогда не видел. Руки у него были «завязаны». Знаете, в войну некогда было: резали, а кожу натягивали. И вот у него тор-

чали такие «колбаски»-обрубки. На шее болталась дощечка с надписью: «Подайте инвалиду войны». Он был, очевидно, нем, то есть не мог говорить, а лишь мычал: во рту болтались только ошметки языка.

Никто его не видел и не слышал, кроме меня. Он стоял на широко расставленных ногах, чуть подавшись туловищем вперед, напротив не видящей его девчонки и смотрел своим уцелевшим глазом на ее замечательно освещенную головку. Вдруг он решительно взмахнул своим правым обрубком, сделал шаг к столу, резко нагнулся со своего высока и лохмотьями губ поцеловал шейку девушки. Она, оглянувшись, вскрикнула страшным, каким-то испуганным криком, будто у нее внутри рвануло. Ее стало трясти и знобить. Матушка, онемев, побледнела и вжалась в угол полки. А из его глазниц вдруг что-то рухнуло. Слеза. Мне показалось, что я слышал звук падающей слезы. Этого не могло быть, поезд шел быстро и шумно, но в голове у меня этот звук остался, мне показалось, что я слышал, как его слеза разбилась о нечистый пол нашего деревянного вагона.

Поводырь-пацан потянул «обрубка» за подол гимнастерки и оттащил его от трясущейся в ознобе девочки. Воспользовавшись заминкой, незамеченный, я спустился вниз и почти вслед за «обрубком» оказался в тамбуре. Калека-солдат сидел на корточках, привалившись к «собачьему ящику», а пацан, прикурив тоненькую папироску, вставлял ему окурки в лохмотья губ, вынимал после затяжки и снова давал своему огромному брату-калеке затянуться дымом самых дешевых в ту пору папирос «Ракета».

Поезд прибыл на станцию Остров.

Они тоже вышли: один огромный, другой неправдоподобно маленький, словно кто-то все это срежиссировал. Сошли в

абсолютно разрушенном городе. До этого я не понимал, что такое — «разбитый в пух». В Острове понял. У вокзала не было крыши, а сам вокзал был заполнен «обрубками» — безрукими, безногими, палеными, ослепшими... Эта жуть до сих пор у меня в глазах. Брейгель какой-то, в натуре и на Руси.

Шел мокрый снег...

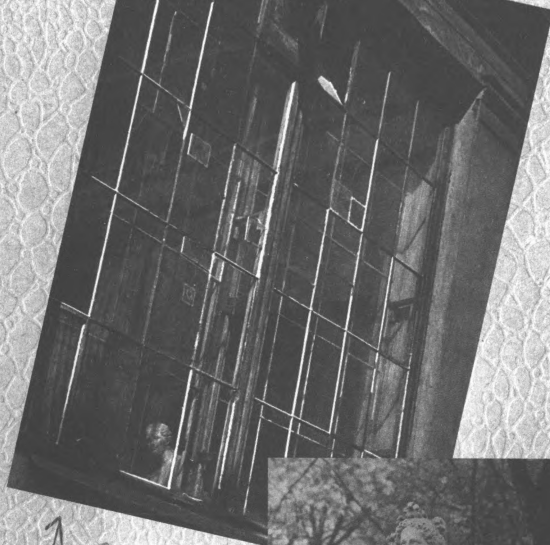
II



Анна Сергеевна Удальцова ↓



Дворец Шварцманн-Людвиговичей ↓



↑ Мраморные
Шагирин
Людвиговичей



"Красная" →





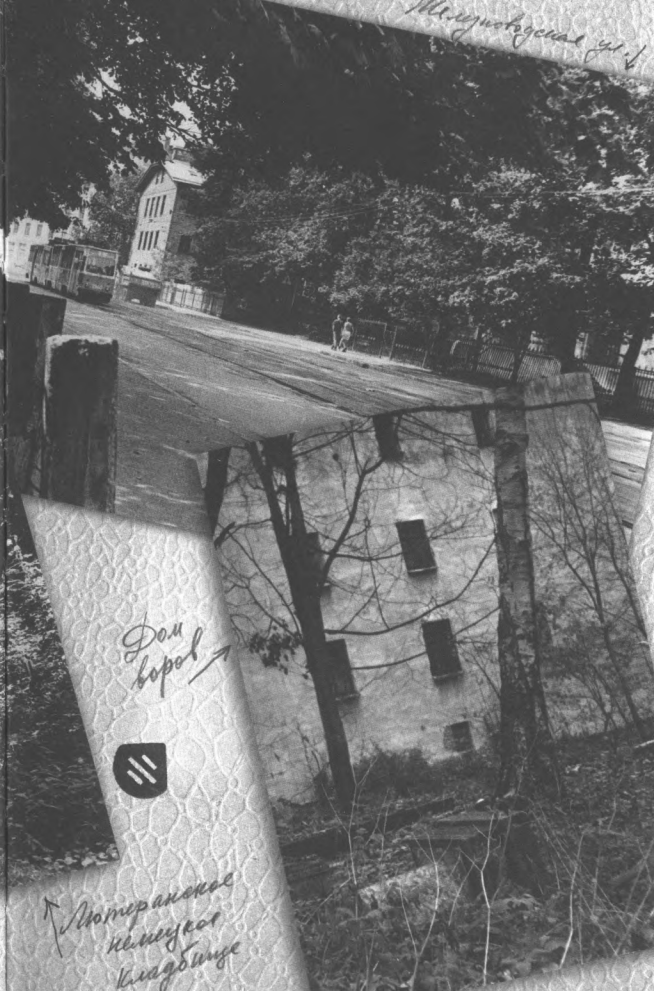
Дош бопол ↑
на Менифотогравд 90



Дош бопол →



↑ Помешанонсе
Кенезкор
Квадбунге



Менифотогравд 90 ↓

Нearing Срепектun Улозонот ↓



Допун Шогунун Уфонмент ↓



↑ Мачмерекун
Шкагерун
Уфонмент



“Красова” →



Мощади Урицкого

Памяти матки Брони,
Брониславы Одынец

Наш чухонский поезд пришел в Питер затемно. Коллонтайский экспедитор, по обозванию Мутный Глаз, смесь латышского стрелка с эстонской революционеркой, растолкал меня минут за двадцать до остановки. Времени хватило только на галльонные необходимости и пайковый завтрак. Спросонок я еще не осознавал, что происходит со мной, — куда меня везут. Только когда поезд остановился и лагаш (кондуктор) открыл дверь вагона в холодную темноту январского утра, я понял, что это подлинная реальность. Теперь жизнь моя может измениться и из подворыша-скачка, пацана-майданника, колониста-татуировщика я выйду, как говорили мои коллонтайские подельнички, в стопроцентные фраера. Одним словом — житуха повернется совсем в другую сторону. Мутный Глаз, привезший меня для сдачи питерскому НКВД, вцепился в мою руку костлявыми пальцами и тащил по перрону и майдану* до самого трамвая, не ослабевая хватки. «Отстегну, как доставлю и сдам тебя под расписку на Урицкого ленинградским начальникам и твоей матке Броне, как ты ее именуешь», — объяснил он мне свою строгость. Он не понимал, что я нашамаля за двенадцать лет казенных домов, милицейских дежурок, ночевок в сене и соломе совместно с крысами-полевками, подвижных

* Здесь: привокзальная площадь.

составов всех сортов, коллонтайских охранников с экзотическими кликухами вроде Чурбан с Глазами или Пень с Огнем и прочего, и прочего. Он не понимал, что я обрадовался, когда разыскали в Питере после отсидки в тюрьгах мою матку Броню (она «отзвонила чирик» по 58-й статье за шпионство). Я мог бы смыться от него в суতোлке огромного вокзала или тем более в трамвае без труда — мне, скачку, это было нипочем, но у меня был интерес к будущей неизвестной свободе. Что стало бы со мною в блатной жизни, я уже знал.

В забитом рабочим людом трамвае мы ехали долго — «из ночи в утро» и сошли с моим экспедитором в синем холодном свете на какую-то широченную улицу против огромного, обеленного зимой сада. Сквозь деревья виден был силуэт длиннющего дома-барака, он напоминал эстонскую (остгейтскую) крепость, в которой находилась моя колония, только богаче и величественнее во много раз. Посередине этой крепости красовалась башня-вышка, украшенная колоннами, — наверное, для специальных охранников. «Что за крепость прямо в городе?» — спросил я своего сопровождающего. «Морское Адмиралтейство. Вон, видишь, — шпиль с кораблем» — сказал он, подталкивая меня вперед, к тротуару. Через малое время мы оказались на углу улицы, по которой тоже пилили трамваи и сновало множество спешащих куда-то людей. Перед моими бродяжьими зенками возникло огромное пустое снежное пространство, окаймленное богатящими домами с бесчисленными колоннами. В центре этого белого поля, на котором могла разместиться целая армия энкавэдэшников, торчал высоченный столб. На верхней площадке его стоял темный крылатый дядька-ангел с крестом в руке. «Что за невидаль такая?» — подумал я, переходя впервые в жизни по зеленому фонарю большую улицу. В этой звездастой стране вдруг какие-то церковные ангелы на верхотурах.

За столбом вытянулся дом-дворец — колонна на колонне, колонной погоняет. А на крыше выстроились фигуры ряженных вертухаев, как караульные чурки в зоне на вышках. Мы пошли по правой стороне этого великанского плаца, вдоль желтой высоченной стены округлого домины, поставленного в давние времена в честь воинов-гулливеров. Мутный Глаз сразу выпрямился, принял стойку «смирно» и замаршировал, дернув меня, глазевшего на все это диво, за собой. Когда дом, мимо которого мы шли, он обозвал Главным Штабом, меня охватила бесконечная тоска: неужели снова придется объясняться с фараонами или даже с самим прокурором за многочисленные побеги из детприемников и коллонтаев в этом их штабе. И мне стало зябко в моем казенном потертом бушлатике на огромной нелюдской площади, окруженной со всех сторон домами-дворцами вождей-прокуроров.

По нашим пацаньим понятиям, прокурор — самый главный начальник над людьми, как царь, но цари отошли в сказку, а прокуроры остались. В блатном мире их кличут «дворниками». Может быть, в честь этих дворцов, где они паханствуют?

Мутноглазый всю бесконечную дорогу держал меня своими костистыми клешнями за запястье правой руки. Проходя мимо гулливерской арки, ловко соединявшей две одинаковые полукруглые домины, я увидел огромные лепные украшения на стенах. Оружие, доспехи, шлемы. Меня поразили гигантские, подавляющие размеры всего этого. Но почему-то я подумал, что с них можно будет снять рисунки для выколок блатным клиентам. За аркой, перед огромной дверью с энкавэдэшной гербовой вывеской, курат* отпустил мою руку, чтобы достать папку с «телегою» на меня из своего кожаного швабского портфеля.

* Черт (эстонск.).

Дверь оказалась такой тяжелой, что ему пришлось открывать ее обеими руками, поставив портфель на снег. За первой дверью была вторая, а там охрана — два энкавэдэшных громилы в чистой новенькой форме с одинаковыми лицами и наркомовскими усиками, как будто кто-то их выколол по трафарету. Мой начальник почему-то снял с головы эстонско-латышскую шапку, пригладил свою редкую паклю и протянул им папку с документами. Охранники, поковырявшись в ней, впустили нас за барьер и показали на мощную дубовую дверь. Открыв ее, мы попали в просторную залу, напомнившую мне чем-то многочисленные милицейские дежурки, которые я перевидал от Сибири до Эстонии, только во много раз больше, богаче и чище. «Амбец пришел, вконец уроют», — подумал я, оказавшись в главной дежурке фараонов-гулливеров. Но ничего страшного поначалу не произошло. Велели сесть на дубовый диван слева от входной двери — ближе к окну. Мне повезло, я устроился рядом с громадной горячей батареей — по дороге основательно подмерз. Отогревшись малость, я стал рассматривать энкавэдэшную обиталовку. Зал с высоченными потолками поделен был массивной дубовой стойкой на две части — легавую и общую. Две двери находились на моей, общей стороне, две — на милицейской. Все стены дежурки обшиты были дубовыми панелями выше моего роста. У стены и в простенке окон тоже стояли тяжелые дубовые диваны, похожие на вокзальные, только на спинках их были вырезаны не буквы МПС, а щит и меч.

В легавой части, подле стойки, за письменным столом сидел дежурный капитан — суточный хозяин главных «сеней» фараонского штаба. Но первое, что бросилось мне в глаза в этом великанском зале, — это два портрета, глядевшие друг на друга. Между двумя окнами с видом на площадь висел портрет вождя в белом кителе со звездой генералиссимуса под

воротником и знакомым мне улыбочатым прищуром мокрушника. Такой богатый портрет я видел впервые. Сработан он был чисто живописным рисовальщиком — видать, знатным. Я даже встал и подошел к нему, чтобы ближе рассмотреть, как он сделан. Дежурный, заметив мой интерес к портрету, сказал не без гордости: «Ловко рисован, а? Живой прямо!» Я с ним согласился. Если бы он знал, что я пяти блатарям-уркам расписал Усатого! Двоим на предплечьях и троим на груди. Один из воров сказал мне по секрету, что «ус» — свой, то есть наш, крещенный «Крестами», и что он имел несколько ходок. Где они сейчас, эти меченные моими вождами-оберегами воры?

За спиною отглаженного капитана висел портрет Козлобородого — Феликса Эдмундовича Дзержинского — такого же размера, как портрет Вождя. Глядя на него, я вспомнил, как еще малолеткой в войну, будучи воспитанником детприемника НКВД города Омска, ночью под Новый год, втайне ото всех, в зале, где стояла елка и висел портрет родоначальника ЧК, — обратился к нему по-польски (я тогда еще говорил по-польски) с просьбой вернуть мне мою матку Броню и моего старшего брата Феликса — тезку его, по-домашнему — Фелю, за что поклялся Маткой Боской исправиться и стать показательным воспитанником. Но он не откликнулся.

«Суточный хозяин» главной штабной дежурки долго проверял папку с «векселями»* на меня. Иногда спрашивал о чем-то экспедитора, стоявшего за стойкой с общей стороны. В конце морокования встал из-за письменного стола с одной из бумаг и пошел к двери. «Наверное, за печатью легавого прокурора, начальника всех коллонтаев Эсээрии, — подумал я, — накладную на меня оформляет. Надо ведь отпустить возилу в Чухляндию».

* Документы (блатн.).

«Кайки, пойка*, — подмигнул мне вдруг Мутный глаз, — скоро станешь местным, ленинградским». И, подойдя близко, впервые по-доброму похлопал меня по плечу. «А мать-то когда приведут?» — спросил я. «Инструкцию тебе внушат, как жить, и приведут. Не бойся. Все — кайки! Ты свободен!». Как только в дверях появился капитан, мой эстонский желатель превратился снова в латышского стрелка. Получив бумагу из рук начальника, упрятал ее в портфель, щелкнул каблуками по-военному, круто повернулся через левое плечо и вышел из зала, не попрощавшись со мной и так и не увидев своим мутным глазом мою матку Броню.

Капитаново наставление оказалось коротким. Он велел мне на воле нигде, никогда, никому не говорить, где я был и откуда вышла моя мать, иначе нам станет худо и никуда мы от них не денемся. Накалявав какую-то бумаженцию, отдал ее рядовому легавому, шнырявшему из двери в дверь. Встал из-за стола, облокотившись на свой барьер, показал мне рукой на открывающуюся дверь и неожиданно для меня сказал: «Вот твоя мать».

С правой стороны от портрета Усатого из громадной дубовой двери вышла тетенька — очень худая и очень красивая, с шапкой пшеничных волос, уложенных венчиком вокруг головы. Она осторожно шла ко мне против света, по диагонали. Смотрела на меня большими серо-голубыми удивленными глазами и что-то говорила, но что говорила — я не понимал. Язык ее был мне знаком, я знал его в малолетстве, но забыл, забыл... Я растерялся... Встал с огербованного дивана, почему-то спрятал руки за спину и оцепенел.

«Ты что ему пшекаешь? Ботай с ним по фене, он в этом языке больше разбирается», — сказал матке чистенький капитан,

* Все, мальчик (эстонск.).

наблюдавший картинку из-за своей дубовой стойки. «Что это он чушит матку-то, во гад легавый», — подумал я, приходя в себя. Она, вздрогнув, остановилась перед ним, как бы что-то вспоминая, и, оправив свои пшеничные волосы, вдруг вежливо, но по-нашему спросила: «А вы, гражданин начальник, на моего пацана какую-нибудь ксиву дадите?» Тот, поперхнувшись, со злостью ответил: «Я не гражданин начальник, я товарищ капитан. А на него что положено, все получите».

«Товарищ, товарищ» — у нас все товарищи. Я вспомнил, как в начале войны в городе со странным ордынским названием Куй-Бы-Шев меня водили в дурдом на допрос к врачу, — там уже находился мой брат Феля. По длиннущему коридору с зарешеченными окнами два усатых санитаря, похожие на всех наших вождей сразу, волокли за руки по полу маленького морщинистого старичка с бородкой, кричавшего им писклявым голоском: «Люди вы или товарищи?» Они встряхивали его, как тряпку, после этого крика и снова волокли...

По окончании оформиловки векселей, выходя из штабной дежурки, я посмотрел на портреты вождей и подумал, что Железный Феликс все-таки вернул мне мою матку, а Фелю не спас. Феля умер от воспаления легких зимой сорок второго года в сумасшедшем доме города Куйбышева.

Я не помню в подробностях, как мы вышли из царства фараонов. Помню только, что пошли прямо по диагонали через всю снежную громадину Урицкой площади к центральному столбу с ангельским дядькой и замерзшему дворцу царей с танцующими колоннами и оледенелой охраной на крыше.

Мы с матерью, не сговариваясь, шли очень быстро, вероятно, нам хотелось скорее отойти подальше от энкавэдэшного парадняка. Сбавили ход только у цокольного камня ангельского столба. Я впервые оглянулся назад. Издали арка желтого штаба напоминала парадный китель главного военного про-

курора из какого-то кино или сна, красиво расшитый рельефными знаками войны и насилия. Вместо фуражки над мундиром нависла шестерка черных лошадей с двумя водилами по бокам. Лошади тянули черный возок со стоящей в нем крылатой теткой, в руке которой торчал «двуглавый кур». «Что за кино чудное в этой Эсэсэрии? Может быть, это знак прокурорской власти — тетка на древнем воронке? Да и на арке самой еще две „крылатки“ с венками благословляют мечи с топорами — полный атас». Пока я отзыривал невидаль, матка ушла вперед, в сторону Адмиралтейской крепости. Я догнал ее и услышал, что она что-то говорит на своем ласковом языке, говорит сама себе. А что — я не разобрал. Потом понял. Она идет и молится родным польским богам.

Трамвайная остановка находилась как раз против Адмиралтейства. Кроме нас и закутанной старушки с шавкой на руках, на остановке никого не было. Подошел трамвай. Мы сели во второй вагон. Если не считать кондуктора, вагон был пуст. И только для нас она объявила, что следующая остановка — Биржа. Я спросил матку, далеко ли нам ехать. «До твоей родины всего пять остановок», — улыбаясь, сказала она, смягчая все твердые звуки в словах.

Сквозь «глазок» в ледяной проталинке окна я впервые после двенадцати лет отсутствия в Питере увидел оледенелую белую Неву с еще одним громадным мостом напротив нас и Петропавловской крепостью с левой стороны. Таких огромных просторов внутри городов я не видел нигде, начиная с моей детприемовской Сибири и кончая коллонтайской Эстонией. Первое ощущение странное — какой-то звон в ушах от этого громадного пространства. Матка что-то говорила мне по-русски, но я, шарахнутый всем увиденным, плохо соображал. Единственное, что запомнил из сказанного в этом замершем, пустом трамвае: «Сын, будь острожен, никому не говори, что с нами

было. В этой стране легче посадить человека, чем дерево». Я вспомнил капитаново наставление, и мне снова стало зябко.

Петроградская родина оказалась более ласковой, знакомой, привычной, чем давящий, начальственный центр города. Не все дома восстановили после войны, были заметны следы бомбежек, но по улицам ходили нормальные люди, некоторые из них даже улыбались, глядя на нас с матерью. Рыжая тетенька со сказочным именем Ядвига открыла дверь на третьем этаже старинного дома на Ропшинской улице и, увидев меня, что-то залепетала по-своему, часто повторяя: «Матка Боска, Матка Боска».

Просторная комната с двух окон с печью-камином белого кафеля в углу была чисто убрана. От натопленной печи шло тепло. Под старой лампой с тремя крылатыми пацанятами, держащими по три подсвечника, стоял овальный стол, накрытый к обеду. Среди простой белой посуды возвышался старинный подсвечник со свечой. В правом углу, как в деревенских домах, висело изображение незнакомой мне Божьей Матери, которое Ядвига называла Маткой Боской Ченстоховской. На угловом столике под ней в высокой темной вазе стоял букет каких-то красивых метелок. Тетки почему-то величали эти метелки пальмами. За высоким широким шкафом была спрятана кровать, а против нее, у другой стены, размещалась оттоманка, покрытая красивой полосатой зелено-красно-черной шерстяной дорожкой. Простенок между окнами занимал шкаф со старинными книгами и бюстом какого-то польского поэта. Для меня все увиденное было настолько неожиданным, что я запомнил это на всю жизнь. Такие картинки я видел только в кино, и то редко, — нам больше показывали фильмы про революцию и войну. Комната принадлежала тетке Ядвиге. Наша с маткой квартира на четвертом этаже этого же дома отошла к «прокурорам» после посадки моих родичей. И теперь нас по первости приютили питерские «пшеки».

Потом с «дзень добры» в комнату вошел высокий старик, оказавшийся моим крестным. Пока matka с Ядвигой хлопотали на кухне, дядька Янек рассказал мне, как я путешествовал под столами в его мастерской. Крестный работал краснодеревщиком. После ареста матери я временно находился у него до определения в казенный дом для малолеток.

Обед был сказочным. Дядька Янек зажег свечу и поднял рюмку за амнистию, так я перевел для себя сказанные им слова. Половину из того, что они говорили по-польски, я не понимал, в голове у меня все перемешалось. Я еще по-настоящему не соображал, в каком мире нахожусь. Я чувствовал какое-то стеснение между мною и матерью. Мы были подельниками по несчастью. И сейчас осторожно приглядывались друг к другу. Наверное, она тоже до конца не верила в то, что случилось.

Я отключился прямо за столом. Тяжелый день и вкусная еда — пельмени в свекольном бульоне и чечевица с морковью — сделали свое дело. Matka уложила меня прямо на оттоманку, и я сразу же полетел в пропасть. Как долго я летел, не могу сказать. Помню, что снова я очутился на площади Урицкого, в Главном Штабе, откуда нас с matкой Броней выкидывают прямо в сугроб из фараоновой парадной два амбала-близнеца. Мы поднимаемся и бежим по замороженной площади к трамваям, в сторону крепости со шпилем и корабликом на нем. Добежав до середины громадного плаца, у столба с крылатым дядькой мы услышали какой-то шум за спиной. Оглянулись — за нами погоня. Целая армия великанов-мусоров — в древних военных доспехах, с красными звездами на тульях фуражек, вооруженная щитами, мечами, копьями, топорами со стенок Главного Штаба — мчится на нас. Впереди на гигантском гранитном столбе летит дежурный капитан с огромными черными крыльями за спиной и черным мечом в руке. Он громко кричит matке: «Ты что ему пшекаешь, ты с ним по фене, по

фене, по фене!..» Мы прибавили скорость. Я снова оглянулся в страхе — с верхотуры арки прямо на нас сорвалась шестерка черных лошадей, запряженных в древний воронок, погоняемая лупоглазым прокурором. А от стен дворца отделились многочисленные колонны и вместе с фонарями стали окружать нас, сжимая пространство. Мы побежали еще быстрее по оставшемуся свободным коридору к спасительному золотому кораблику. Вдруг капитан со своего верха приказал: «Стой! Стрелять буду!» И все заиндевелые вертухаи на крыше царского дворца враз повернулись к нам, подняли длинные винтовки и щелкнули затворами.

Я рухнул на колени в снег и, перекрестившись дланью, закричал: «Матка Боска! Матка Боска! Спаси и помилуй!» После чего в ужасе и поту проснулся. Меня трясло. Надо мною стояла моя матка Броня и говорила мне по-польски: «Co z tobą, mój drogi synku? Co ty krzyczysz? Wszystko będzie dobrze. Jesteś jedynym mężczyzną w rodzie, i powinienś żyć»*.

* Что с тобой, дорогой сын? Что ты кричишь? Все будет хорошо. Ты один мужик в роду, и должен жить (польск.).

Анюта Пенарогкая

Воспоминания затырщика

В далекие времена усатых вождей в эти окраинные места Питера можно было доехать из города только на «шестерке» — трамвае № 6. Причем на Железноводскую улицу — главную магистраль острова Голодая — трамвай приходил уже полупустым. Насельником этих мест, кстати, основательно разбитых в ту послевоенную пору, был народ опущенный, или, как выражались итээровцы тех времен, темный. Кроме рабочих, служивших на старых заводах по берегам реки Смоленки, остров остальными жителями посещался только по особой нужде, и то с опаскою.

Большая часть домов левой стороны Железноводской задними дворами выходит на окраину немецкого лютеранского кладбища, которое старинные люди именовали кладбищем «чужестранных иноверных иноземцев». Когда-то красивое и знаменитое, ныне заросшее и одичавшее, оно превратилось в пристанище мелких птиц и ворон.

Попал я в эти края по буквальной нужде. Матушка моя после отсидки по 58-й статье была второй год без работы. Голод не тетка, и мне, загнанному в угол, пришлось вспомнить недавнюю мою биографию. Люди хорошие порекомендовали меня знаменитому питерскому уркагану с выразительной кликухой Мечта Прокурора в качестве пацана-затырщика, помощника, принимающего краденое. Рекомендатели мои велели

явиться одним днем поутру в двухэтажный старый домишко, находящийся во дворе частично разбитого снарядом дома в конце Железноводской улицы. Постучавшись в левую дверь первого этажа, спросить Анюту. Если женский голос отзовется вопросом «какую?» — произнести пароль: «Непорочную».

Утром одного октябрьского дня я все это и проделал. На пароль открыла мне дверь совсем молодая невысокая милосивидная тетенька. Узнав, что я шкет с Петроградской стороны от Шурки Вечной Каурки, впустила в хавиру.

Жилище, в которое я попал, показалось мне чудным — непохожим на питерские квартиры. Представьте себе общее помещение, поделенное перегородками, не доходящими до потолка, выражаясь языком хозяйки, на сени, кухню, залу и чулан. Все перегородки-стены оклеены тряпкой вроде мешковины и выбелены известкой. Полы из широких досок покрашены зеленой масляной краской. Крепко сделанная деревянная мебель также крашена маслом. Что-то в этой обстановке было от деревни, только не русской, православной, а какой-то иной. Чем-то она мне напомнила бывший монастырь в Эстонии, превращенный в детский коллонтай, где я отсидел полтора года до Питера. И еще чем отличалась эта неожиданная обиталовка от виденных мною жилищ — это абсолютной, стерильной чистотой.

Анюта, оставив меня в сенях, прошла «анфиладою» проемов на кухню и через минуту вышла с небольшого роста, очень худым, изношенным жизнью человеком с длиннющими руками и вытянутой, остриженной ежиком головой. Старик внимательно обшарил меня своими впалыми, пожившими в «Крестах», гляделами, затем спросил навскидку, сколько лет я был за пазухой у Лаврентия, чем кормился, сколько раз украшал исправилочки. После анкетного допроса велел раздеться в сенях и пройти на кухню.

Я разделся, положил свой бушлат с малахаем на большой плоский сундук, покрытый домотканой дорожкой, и двинул за хозяевами в кухню через так называемый зал.

Стояк с огромной печью с одной стороны и плитой — с другой делил помещение на две части. Печь принадлежала залу, а плита — кухне, то есть тому, что звалось кухней. Мне показалось, что обиталище воров было когда-то нежилым.

Плотная занавеска и самодельный шкаф разделяли зал на спальную часть с кроватью-топчаном и гостиную. В гостиной подле окон во двор стоял прямоугольный, из тяжелых досок стол со скамьями и табуретом. По центру правой стены в темной плоской раме под стеклом находилась семейная фотолепись Анютиных предков. Среди родственников выделялась старинная фотография дядьки в финской зимней шапке, с винтовкой в руках и Георгиевским крестом на груди. Как потом выяснилось, дед Анюты в русско-турецкую войну служил снайпером в финском отряде. В правом углу гостиной висел образ нашей северной Тихвинской Божьей Матери, любимой иконы перекрещенных в петровские времена чухонцев. В узкой кухонной части, против окна, выходившего на кладбище, висело непонятное для меня в ту пору, но страшно привлекательное тканое диво. По объяснениям Анюты — финское изображение заката-восхода солнца. Ранее такие ткани висели в каждом чухонском доме. В кухне, кроме «заката», белых с розами ходиков над плитой, небольшого стола и полки с посудой, ничего не было.

После моих коллонтайских нар, после «усатых портретов» в казенных домах и милицейских дежурках, после шишкинских мишек в бесчисленных вокзальных буфетах хавира марухи воспринималась мною как невидаль.

За чаем меня подробно проинструктировали в моих нехитрых, но важных обязанностях и велели через два дня, в суббо-

ту, быть у них в доме после семи вечера. В субботу той же «шестеркой» я прикатил на Голодай с подарком для Вора — капустными пирожками от Шурки с Петроградской стороны. После ужина — трески с картошкой и травяного чая — мне постелили в сенях на большом финском сундуке; в половине пятого утра надо было вставать.

Утром я проснулся от сильного кашля за перегородкой. Кашлял старик, кашель был знакомый по коллонтаю — легочный. Беспокойный голос Анюты убеждал Василича побережись, не ездить на толкучку — холодно, сыро, да с его легкими и опасно. В ответ Василич прохрипел: «Последний заход, Анюта, и баста, с работенкой надо попрощаться. Буди малька, пора двигать».

«Вот оно, значит, что — я буду затырщиком в последнем заходе великого щипача, прозванного уркаганами города Питера Мечтой Прокурора».

Анюта подняла меня словами: «Вставай, пойка, пора на работу». Завтракали молча, молочной тюрей, хлебом, салом и травяным чаем для смягчения легких. Когда встали с еды, Анюта, показав пальцем на сидор* Василича, велела мне поить его из завернутого котелка травным варевом каждый час, чтобы не кашлял. И, пожелав в сенях Бога навстречу, открыла дверь.

Нам надо было протопать до Среднего к первым трамваям, которые выйдут из парка, но, главное, затемно перейти Камский мост, чтобы «квартильный» по кличке Ярое Око не положил бы свое око на старого вора и не причинил бы беспокойства. «Квартильный» жил на четвертом этаже в одиноко возвышавшемся доме на самом берегу Смоленки со стороны Васильевского — против Камского моста. Народ Голодая в ту пору прозывал этот дом «сторожевой будкой».

* Мешок, самодельный рюкзак (прост.).

Мы вышли в полную темноту, под мелкий холодный дождь, обогнули слева дом Анюты и оказались на кладбище. Старик взял меня за руку и повел по нему, как поводырь слепого. Я впервые попал на это забытое Богом и советской властью кладбище, да еще кромешной ночью. Помню только в слабом свете сырого воздуха огромные древние деревья и высоченные склепы — дома мертвых — вдоль мокрой кладбищенской дороги. Казалось, что мы идем по какому-то странному городу, где дома уменьшены, а деревья увеличены неправдоподобно. Путь по кладбищу в мокрой тьме показался мне достаточно долгим и не доставил большого удовольствия. Если бы не уверенная рука Василича, я бы не отважился на него.

Перейдя опасный мост затемно, мы по 17-й линии вышли на Средний проспект недалеко от трамвайного парка, сели в вышедший из него трамвай № 1 и двинулись к цели.

В остывшем вагоне трамвая у Театральной площади стало теплее от заполнившего его сонного люда в перешитых из армейских шинелей коротких пальтишках, куртках из «чертовой кожи» и многочисленных ватниках серого, синего и черного цветов, типичной формы одежды послевоенного человечества. Многие спали стоя, покачиваясь вместе с трамваем, прицепившись своими руками-пассатижками к свисающим на брезентовых ремнях поручням. Мы со Степаном Василичем были как все. Вышли на Балтийском вокзале и по набережной Обводного канала мимо Варшавского вокзала двинулись в сторону проспекта Сталина, так тогда именовался Московский, и далее к Лиговке, где была толкучка. К барахолке подошли с обратной стороны в шесть—начале седьмого, еще было темно. В этом месте находилось множество дровяных сараев — собственность ближайших домов и несколько старых, брошенных, не вывезенных ларей. Старик оставил меня с поклажей в щели между двумя сараями и пошел проверить, все ли в порядке в

выбранном ранее месте нашего гнездовья. Мастер хорошо знал заспинные места барахолки. Мало заметный, с двумя подходами и хорошим обзором, старый, но крепкий торговый рундук ловко стоял внутри ларей и сараюшек. Он идеально подходил для наших «подвигов». В нем еще оставались две скамейки-полки, на которых можно было, подогнув ноги, прилечь. Первое, что я сотворил по завету Анюты, — достал из хозяйского мешка алюминиевую кружку и самодельный термос, круглый котелок с завинчивающейся крышкой, одетый в пуховый стеганный мешок, и налил из него в кружку лечебное варево. После чухонского чая и куска хлеба с салом Вор взял из сидора потертое пальтишко, вынул длинный бурый шарф и поношенную кепаруху, насыпал канифоли в карманы пальто, чтобы не выскальзывали кошельки и бумажники. Надев все это, превратился в обыкновенного кыр-пыровца* из толпы. Вскоре со стороны сараев пришли стушевщики — два абсолютно безликих пацана, нанятых стырщиком для прикрытия. После короткого сговора артель двинулась на работу. Первым на толкучку ушел старый щипач, за ним пацан правой руки, а после — левый пацан. Что старик — гениальный стырщик-виртуоз, я понял буквально через час.

В мою затырную задачу входила обработка и сортировка всего, что брал уркаган и приносили помоганцы-стувешчики. Необходимо было все ценное складывать в отдельный мешок. Деньги из кошельков — в выданный Анютой большой кожаный шмук, а всю упаковку (сумочки, кошельки и прочее) — в другой. Пацаны поочередно каждые десять-пятнадцать минут вытряхивали мне из своих бушлатов добытые его талантом бумажники, кошельки, сумочки, часы, цепочки и прочее. Я не успевал обрабатывать такое количество взятого добра.

* От *прост.* кыр-пыр, т. е. красный пролетарий.

Через час с небольшим старик пришел сам. Работать дальше было опасно. На барахолке началась паника. Необходимо было лечь на дно. Часа на два, на два с половиною. Он скинул с себя пальтишко, развернул ватник с горячей фляжкой, быстро надел его на себя и, схватив флягу своими грабками, заметно отпил из нее Аютиной жидкости и попросил растереть замерзших «работничков». Пацанов, стоявших на атасе, через полчаса отправил на Варшавский вокзал с заданием оставить сидор с уликами — пустыми кошельками и документами — в зале ожидания, поближе к линейной службе, и принести кипятку. После перекуса прилег на скамью, велел мне торчать на стреме, и заснул.

Второй акт этого последнего выступления великого щипача был короче и стремительней. Стушевщики буквально через полчаса велели мне собрать шмотки и быть готовым к отвалу. Минут через десять прибежавший правый стушевщик сказал мне, что старик с их помощью свалил с майдана и будет ждать меня на остановке трамвая у Балтийского вокзала. У него приступ кашля. На канал я должен выйти в обход толкучки, там они меня встретят и будут сопровождать до трамвая. До старика я добрался благополучно, только ноги мои одеревенели от холода.

Ехали на остров вместе, молча. Старик здорово утомился, несмотря на талант и опыт, работенка у него была не из легких. К углу Малого и 17-й линии подъехали затемно и двинулись по ней на свой Голодай. Где-то у пятого дома от угла из подворотни вынырнула четверка жиганов, остановила нас и велела угостить куревом. «Не курю — прикурить даю», — прохрипел осипшим голосом вор. «Не шипи, дай грошей, дед, — прикурим сами», — приказал ближайший жиган и шагнул на стырщика с ножом в руке. И вдруг упал навзничь, с лицом, залитым кровью. Трое остальных оцепенели от неожиданности.

«Что, вшиварь, от козырного деда прикур на житуху получил? Крещенного „Крестами“ не трогать, сучьи потрохи, — потушим всех». Пацанва, поняв, на кого напала, смылась с глаз долой, оставив своего первача на панели.

— Малек поторопился, — просипел старик уставшим голо-сом, — не знал, что воров в законе нельзя обижать. Хана всем, коли заденут. Но ничего, я его не надолго отключил. Скоро придет в себя. Следок малый останется, зато помнить будет законы жизни.

Старик свалил парня воровским приемом, который называется «локоть» (одновременный удар локтем в сердце, а кулаком в висок), и полоснул лезвием-«распиской», приклеенным слюною между пальцами, — главный инструмент щипача.

— А все-таки почуяли шакалы добычу, — сказал словно бы для себя крещенный «Крестами» уркаган уже на Голодае.

— Ну, как пробежались? — встретила нас радостно Анята.

В доме было тепло, пахло щами. В сенях старик снял с моих плеч брезентовый сидор и протянул его марухе со словами:

— Возьми, Анята, последнюю дань фраеров Вору. Половину брал у маклаков. Попрощался с работенкой. Воды-то в таз налей, устали грабки, смочить их надо, легче станет, да и привык.

Анята принесла из кухни шайку с горячей водой и поставила в сенях на сундук. Вор сел на табурет и опустил свои знаменитые руки в воду. Пока Анята возилась у плиты и накрывала на стол, Степан Василич исполнял древний ритуал карманников. Мне, по моему незнанию, казалось, что старик, опустив руки в воду, смывал заработанные на барахолке грехи, или, выражаясь по-церковному, отпускал грехи, отдавал их воде. Я думал, что выражение «концы в воду» связано с отмачиванием рук щипачами после их стырных «подвигов». На самом же деле делалось это для того, чтобы кожа на грабках становилась бо-

лее чувствительной. Хороший карманник с отнеженными в воде руками через материал одежды определяет наличие в карманах денег. Грубыми, нечувствительными руками не заработать. Понятно, почему урки в тюрьмах не работают: они берегут свои руки, инструмент для добычи хлеба насущного. А ежели говорить про Степана Василича, то природа, сотворив из него вора, подарила ему потрясающие механизмы этого древнего ремесла — руки карманного артиста. Во-первых, они были заметно длиннее, чем у обычных человеков. Во-вторых, кисти рук, тоже изящно-длинные, с неправдоподобно тонкими и плоскими фалангами, заканчивались нежно-розовыми сплюснутыми подушечками на концах. Блатные говорили про него, что с такими инструментами ему сам Бог велел уркаганить.

Ужинали забеленными богатыми щами из глубоких глиняных чухонских мисок, с добавкою. Сразу после еды Василич, посмотрев на меня, ослабевшего от еды помоганца, сказал хозяйке:

— Уходилса затырщик наш, скорей стели ему, Анюта, не то он на столе уснет.

Спал я на том же сундуке в сенях. Ночью проснулся незнамо почему и стал невольным свидетелем любовного разговора, который запомнил на всю жизнь. За перегородкой в хозяйской клетки старый больной вор своим хриплым голосом говорил молодой подруге:

— Не знаю, как тебе, Анюта, а мне подфартило к концу житухи. Наградила она меня тобою, покрыла твоей добротой. Правда, уже не тот я стал работничек по всяким действиям, как раньше.

— Степушка, татик ты мой севериновый, перкуша* ненаглядный, — ласкала Анюта старого вора, ловко мешая русский

* Чёртушка (чухонск.).

язык с родным чухонским. — Лунь-пойка мой любимый, достанешь ты меня так, что и молодому не снилось.

— Анюта-Нюта, ебава ты моя последняя, я хочу, чтобы твои ласковые руки омыли меня после моей чахоточной смерти!

— Не грехи, Степушка, не торопись, — видишь, как нам хорошо. Хюва*, пойка ты мой старый. Хюва мне с тобой.

— Ладно, Нюта, торопиться не буду, подожду. А сейчас повернись ко мне своею «печуркой», погрей кости старого стырщика...

Наутро из-за Смоленки пришел маклак Юрок-татарин, ему после стопаря водки Анюта вынесла мой сидор со всеми ценностями, которые можно было сбить. С Голодая я уехал, одаренный, на той же трамвайной «шестерке». Шурке Вечной Каурке, моей рекомендательнице, вез гостинец от Анюты Непорочной — чухонский рыбный пирог.

— Они на тебя глаз положили, — сказала Шурка, принимая подарок.

Еще несколько раз довелось мне быть у Анюты на Голодае с посылками от наших петроградских островов. Вор угасал с каждою неделей. Анюта жаловалась мне — Степушка отказывается от молока и сметаны голодайских коров, обзывая еду баландой, пьет только чай. В начале декабря он так ослаб, что Нюта стала его кормить, как младенца, с ложки.

Умер он в ночь с 21 на 22 декабря — в день зимнего солнцестояния знаменитого 1953 года — на руках у Анюты. Маруха выполнила заказ-мечту старого уркагана — омыла при свечах его отощавшее тело своими мягкими, ласковыми руками, сопровождая прощальные действия старинной финской колыбельной на своем чухонском наречии.

Хоронили его декабрьским понедельником одновременно с кладбищенским дуриком Гошей Ноги Колесом на Смолен-

* Хорошо (финск.).

ском кладбище, недалеко от реки Смоленки. Только Гошу хоронили окрестные нищие, а Мечту Прокурора в последний путь провожала вся верхушка воровской цивилизации островного города, платившая последние болезненные годы Степану Васильевичу пенсию из общака.

Поминальная трапеза памяти Великого Вора проходила в главной «зале» Анютиной малины. Стол-верстак накрыт был по старым правилам русской тризны — селедка, блины, кутья, кисель и тому подобное, как полагается, с чухонской добавкой — ржаным пирогом, начиненным гречей и рыбой, который почему-то ни один пахан не попробовал. Ели его только Анята и Мونها, старый скрипач с Сазоновской улицы, которого она пригласила на тризну. Мونها Голодайский, или, как его окрестили образованные, Мونها Декабрист, с ее татиком выкурил на лютеранских кладбищенских камнях не одну беломорканалину. Фамилия Мони была похожа на фамилию одного из декабристов — не то Раевский, не то Одоевский, отсюда его кликуха. Выпив несколько поминальных рюмок за воровского маэстро, Мونها всю ночь за перегородкой в сеньях пилил на скрипке своего печального Мендельсона попеременно с одесскими воровскими мелодиями.

За окнами пограничного с лютеранским кладбищем малого домишки, где питерские воры в законе поминали своего легендарного кента, стояла полярная ночь и мертвая тишина. Под утро от натопленной печи в хавире стало жарко. Анята открыла окно кухни, выходявшее на немецкое кладбище. Где-то в половине пятого в районе Уральского моста залаяли собаки. Вслед за ними залаял Бармалей, собачий вожак, обитавший в склепе недалеко от дома. Это было время, когда любую машину, проезжающую мост через Смоленку, особенно ночью, встречал лай голодайских собак, предупреждающий местных обитателей, что к ним на остров пожаловали колеса. В такую

пору на остров жалуют колеса только ментовские. Собаки сделали свое дело. Буквально через полторы минуты поминальщики спустились через кухонное окно на лютеранское кладбище. Пройдя сквозь него и перейдя по льду реку Смоленку, через православное кладбище воры вышли на Малый проспект Васильевского острова и исчезли с ветром в островных улицах и линиях.

Собаки, не переставая лаять, сопровождали милицейские машины, поднимая местных обитателей с постелей. Проехав полторы трамвайных остановки, фараонские колеса остановились у прохода на Сазоновскую улицу за квартал от того дома, где можно было дворами пройти к воровской малине, и стали оцеплять всю прилегающую к нему местность. Но было поздно — в домишке остались только Анюта и пьяненький Моня.

После окрестные соседи, наблюдавшие из окон все это зрелище, рассказывали, что, когда Анюту вели из дома к машине, все местные беспризорные собаки во главе с Бармалеем напали на фараонов, пытаясь отбить свою землячку. Произошло целое сражение, и легавым пришлось омокнуться — застрелить жожака.

Последние слова, произнесенные Анютой при запихивании ее в «воронок», были:

— Сатана-перкеле, фараоны проклятые, собак-то за что, кураты мокрушные!

Вслед за Анютой Моня со своей скрипкою попытался забраться в «воронок». Но здоровенный мент, выбив из его рук скрипку, кувырнул Моню со ступенек со словами:

— Куда суешься, алкаш скрипучий, по «Крестам» скучаешь, что ли, а ну, вали отсюда, очкарик пернатый.

— Позвольте вам, товарищ начальник, заметить, — произнес из снега очкастый «декабрист», — я не пернатый, я пархатый, как видите, а скрипка здесь вообще ни при чем.

С отсиделок Анята не вернулась, и с нею с древнего Голодайского острова исчезли последние чухонские чистота и уют.

P.S. В заключение необходимо сказать, что блатной народ с питерских островов наградил воровскую Еву-Анюту почетной кликухой Непорочная за честное служение. Ни одного вора за пятнадцать лет своей малины она не сдала государству и свято соблюдала неписанные законы воровского цеха.

Таша Норм Колсон

Островной сказ

В то победоносное, маршевое время этих людишек никто не замечал и не думал о них, разве что Господь Бог и легавые власти, что и понятно: они, грешные, всегда были виноваты. Но невзирая на это человечки жили своей непридуманной жизнью, по-своему кормились, ругались, любились, развлекались и на вопрос «Как живете?» отвечали: «Пока живем» или шутили: «Так и живем — курочку купим, петушка украдем».

Обитали они на обочинах двух питерских островов — Васильевского и Голодая, если официально, то острова Декабристов. На нем тайно захоронили казненных аристократических революционеров, а несколько позже к ним присоединили повешенного на Смоленском поле цареубийцу Каракозова.

Остров Голодай, как звали его в народе, по одной из городских легенд, подарен был императрицей Екатериной II английскому купцу-врачу за тороватость в торговле и медицине. А врача-купца звали Холидзем — что русско-чухонская шантрапа со временем переделала в Голодай в соответствии со своим житейским положением. С тех пор это прозвище укоренилось в головах местных жителей и до 1930-х годов считалось официальным названием.

Большой и маленький острова отделяются друг от друга речкой Смоленкой, на берегах которой с двух сторон расположе-

ны три старинных питерских кладбища: с Василеостровской стороны — Смоленское православное, напротив, с Голодая, — два других: армянское и лютеранское. В этом месте река несколько изгибается, и как раз на ее излучине стоит Смоленский мост, соединяющий два острова и три кладбища вместе.

17-я линия Васильевского острова, пересекая Камскую улицу, выходит через этот мост к лютеранскому кладбищу, немецкому, по-местному, а сама Камская улица, практически являясь продолжением набережной реки Смоленки, заканчивается Смоленским кладбищем. Наверное, поэтому островные жильцы в то советское время острили, что все дороги Васильевского ведут на 17-ю линию. Да, еще одна интересная подробность: названия улиц в этих краях остались дореволюционными. Советская власть почему-то не переименовала здесь ни одного переулка. Места, как говорят в городском народе, окраинные, занюханые, злачные, и сами понимаете, кто в таких местах селится: маклаки, воры, проститутки, ханыги, городские и кладбищенские певцы Лазаря — нищие и прочие отбросы нашей цивилизации. Знаменитостью этой территории в ту далекую пору являлся «приставленный к жизни грех человеческий», как он себя именовал, а по-людски — Гоша-летописец, или, как величало его островное пацанье, Гоша Ноги Колесом.

Славу свою он приобрел не житейскими подвигами, а скорее, безобразным, нелепым уродством, которое и описать-то трудно. Самым хитрым уродописцам такого не придумать — в голову не придет. Если снять с него рисунок на бумагу, то прокурор не поверит, что такая невидаль существует на земле.

Главная особенность Гошиного уродства — это несоразмерность всего, из чего он состоял. Правое плечо его было в два раза шире левого, отчего огромная косматая голова сдвигалась с оси тулова. Шея практически отсутствовала, а грудная клетка выворачивалась направо, и при сдвинутой голове ка-

залось, что он горбун, но только боковой. Тулово взрослого человека стояло на малюсеньких колесообразных тонких ножках ребенка, которые завершались огромными ступнями. Голова его, покрытая неравномерной волосяной кустистостью совсем не там, где положено, и навсегда повернутая зачем-то направо, к широкому плечу, украшалась нахально торчащим из ассиметричных скул носом Петрушки-Буратино. А в глубоких разновеликих глазных впадинах висели маленькие бусинки-глазки. Весь этот вид окантовывали безжалостно вывернутые наизнанку уши, а маленький, почти вертикальный ротик был кем-то сдвинут влево. В довершение ко всему разновеликие руки, короткая левая и волосатая правая, заканчивались крохотными ладошками с детскими пальчиками. И если подводить итог его описанию, то, пожалуй, он, Гоша, прав, обзывая себя «грехом человеческим». Только дикая фантазия природы могла все это соединить вместе и выбросить в мир людей.

Ходил Гоша зимой и летом в буром хлопчатобумажном свитере и в душегрее, сшитой из кусков старой овчины. Порты его гульфиком волочились по земле и из-за косолапости ног морщились гармошкой. Зимой поверх этого он надевал наполовину окороченный козлий дворницкий тулуп, сильно обрезанные валенки и, нахлобучив малахай, превращался в местное пугало.

Обитал Гоша в бывшем дровяном чулане площадью не более четырех квадратных метров между первым и вторым этажами старого дома на 17-й линии Васильевского острова, недалеко от Смоленки. Стены дровяника, оклеенные питерскими газетами и линялыми страницами «Огонька», завершались «бордюром» из фотографий каких-то знатных военных и трудящихся 1930-х–1940-х годов. Справа от двери к проходящему печному стояку прилеплена была кривая печурка, а вдоль стены громоздился продавленный кожаный диван, выброшенный

кем-то по старости из «буржуазной» квартиры. Между диваном и стенкою втиснут был ватник — собственность ближайшей собачьей подруги хозяина, бело-рыжей лайки, суки по кличке Степа.

На печке стояли медный луженый чайник и кастрюля, выше, на выступе стояка, под потолком, находилась кривая, пожившая во времени птичья клетка.

Над дверью с внутренней стороны каморки висело печатное изображение забытого в ту пору патриарха Тихона, видимое только с дивана, если на него глубоко сесть или лечь.

Гошины рассказы были чудными: «Одновременно с моей матерью в казенном роддоме опросталось еще две матери, причем одна из них тремя близнецами. Из всех рожденных я оказался самым безобразным — просто какой-то зверюшкой, даже испуг прошел по всем повитухам от меня. Сильно ослабевшей матушке из жалости показали одного из близнецов. Меня же третьим отнесли близнецовой матери, и та с испуга, естественно, отказалась от уродца. Так я и попал в дом призрения и там почему-то сохранился. Да, забыл сказать, что все возникшие рожденные новички жутко орала, и от ора все запутались до того, что какой я матери — до сих пор не знаю. Хотелось бы от своей матери быть, но не выходит никак. А тут еще вдруг война напала — первая империалистическая, и опять все помешалось, сутолока всякая, в ней-то я возьми и, незнамо как, потеряйся. Меня искали-искали, нашли, конечно, но не те, а другие. Они своего искали, а я попался — взяли. Дожил я у них до понятливого состояния, а как стали попрекать, что достался я им случаем да еще больно плохонькой личностью, я возьми и убеги из их дома. Так и стал шатуном с самого своего малолетства. От недостатка материнской любви дорос только до карлы. Но видишь, как оно все поворачивается — убогостью ведь кормлюсь, русскую жалость вызываю».

На вопросы, как его отчество и как он попал на питерские острова, отвечал: «Части внешности моей в несоответствии друг с другом находятся. Голова большая, мохнатая — южная, а ножки хилые, недоросшие — северные. Они-то и привели меня сюда, в Питер. Разогнанные революцией монашки Евдокия и Капитолина, царствие им небесное, выучили и приохотили меня к Богу. С тех пор подле него и живу. Истопником служу по надобности при кладбищенской церкви имени иконы Смоленской Божьей Матери, да и кормлюсь-то им, кладбищем. Про отчество же скажу: я ведь человек не полный, а половинный — зачем оно мне?»

Местные зовут меня «летописцем» за кладбищенские знания. Кладбище старинное, как музей, много в нем знаменитостей да академиков захоронено. Вон, сама Арина Родионовна, нянька-то пушкинская, тоже здесь положена. Служу поводырем за копейку. Забывших могилки родных ко мне направляют, а я и разыскиваю. Про нашу Ксению Петербуржскую, блаженную, покровительницу города, рассказываю, чтобы не забыли ее подвигов, пока она в запрете-то находится. Кто-то и по этой части должен быть, а мне сам Боженька велел — к другому природой не приспособлен.

В блокаду выжил грехом — кладбищенских птичек ел. Ловил и ел одну птичку в день, не более. Клетку приспособил под ловушку, приманивал крошками, а потом — оп! — и супчик. Здесь ведь самое птичье место на острове. Ловил втихаря, прятался от людей, вот так и выжил. В ту пору все и всех ели, а я только их, горемычных. Выходит, что в блокаду небом кормился, прости меня Господи Иисусе Христе. Прости и помилуй. Сейчас же сам их кормлю и отмаливаюсь.

Личность, как видите, я уродливая, и многие смотрящие на меня отворачиваются. Поэтому с утра бегу сюда, на Смоленское, чтобы никому глаза не мозолить. Здесь же усопшие ко

мне претензий не имеют, а приходящие на могилки родственники свою гордость за воротами оставляют. Здесь я хоть плохонький, но человек, кладбище для моей персоны — храм, мой мир, мой хлеб. Кажется, что я здесь ужасно давно, еще до них, захороненных, топтал эту землю и всех пережил — знаменитых и просто смертных. Я живу, а они все уходят. Странно как-то, но уходят-то ко мне. В мой музей. И становятся моими кормильцами», — так философствовал Гоша.

Свою подружку Степу обрел он в большом сугробе на Смоленском кладбище. Про страсти, связанные с обнаружением Степы, уродец с удовольствием рассказывал островной малышне.

«После нескольких дней грудной хвори стал обходить свои владения и на Московской просеке вдруг вижу, что из сугроба, насыпанного между новыми могилками, идет дым да какой-то вроде вой слышится. Что за чудо у нас на Смоленском? Перекрестился аж на всякий случай. Ерунда какая-то: сугроб дымится и из глубины воет. Думаю, чертовщина без меня произошла. Болеть-то нельзя, да еще в зимнее время. Нечистый ведь на воле гуляет. Мороз его не берет, холод для него — родная рубашка. Недоглядели люди — он и освоился. А может быть, начальственного колдуна похоронили без меня — так по нему черный дух дымится и воет, или какой-то чухонский волкодлак в снегу поселился. Вот, думаю, страсти-то какие. Снова перекрестился раз несколько — гляжу: сугроб замолк, только дух из щели в воздух поднимается. После крестного знамения осмелел, подошел ближе и вдруг слышу: из снега рычанье раздается с подвывом, скорее жалостливым, чем злобным, — на собачий похоже. Я зашел по снегу с другой стороны сугроба, вижу: из щели торчит кусок брезентового ремня с петлей на конце, на поводок похожий. Думаю про себя: на поводке-то собака должна быть, да наверняка она и есть. За хозяином пришла. Хозяина днями без меня на Московской

просеке схоронили, а она рядом зарылась в сугроб и воет по нему, — вот и загадка вся. Кабы человечки были преданы своим близким, как она, а? Три дня выманивал ее ласкою да магазинною котлетою — наконец выманил лайку-сучку. С тех пор с этой снегурочкой и живу — не расстаюсь. Но она от меня каждый день ходит проведать могилку своего старого хозяина».

Ежегодно, в декабре месяце, Степа щенилась, доставляя Гоше большие расстройства и хлопоты. Обругивал он ее, но ничего не помогало. «Снова обрюхатилась, куда ж я твоих барсучат-то дену? Смоленским окуням отдам? Неладная ты бродяжка-ковыряшка. Старая ведь тетка, сколько можно в природе-то ходить, хватит, уходилась! Ан нет, опять ковырнулась с иголышем каким-то. Фу, тебе — дурь, а мне — топить, грех брать. Что винишься-то, пошла от меня, бесстыда бабская. А ну, кому говорю, пошла вон!» И Степа уходила, поджав хвост.

По русским меркам Гоша был трезвенником. Единственно, когда он позволял себе слабость, — это святочное, новогоднее время. Но пил только для «веселости состояния», чтобы разогнать тоску, накопившуюся за зимнюю питерскую темноту.

Дружил уродец, кроме Степы, с окраинной детворой. Причем объединял вокруг своей нелепой персоны издавна враждовавших в этих краях наследников голодайской и василеостровской голытьбы.

С начала декабря, как только на реке становился лед, между двумя кладбищами — армянским с Голодая и Смоленским с Васильевского острова — под обезглавленным остовом Воскресенской церкви островное пацанье устраивало ледовые побоища. Скатывались с высоких противоположных берегов друг на друга на самопальных лыжах-клепках (досках старых дубовых бочек) и тарантайках — самодельных, из гнутого вокруг кладбищенских деревьев металлического прутка финских

санках. Сражались на льду деревянными мечами и палками не на жизнь, а на смерть весь световой день.

В конце декабря на новогоднее и святочное время наступало межостровное перемирие. Гоша Ноги Колесом объединял всех в одну ватагу для подготовки зимних праздников в этом укатанном месте. В пробитую во льду лунку вмораживалась добротная елка, ежегодно поставляемая для праздника старым голодайским вором-пенсионером Степаном Васильевичем. Два-три дня на крыльце церкви Смоленской Божьей Матери изготавливались сообща нехитрые и замечательно красивые елочные игрушки, которых никто и нигде не имел. В глиняные фигурные формочки с нитяными петельками заливалась подкрашенная цветными чернилами вода. Формочки выставлялись на мороз, и на следующий день разноцветными хрустально-ледяными птичками, рыбками, зверушками украшалась воровская елка. Против елки, ближе к Смоленскому мосту, ставилась большая снежная баба — богиня зимы, скатанная и вылепленная в оттепельные дни. В ее голове в качестве носа торчала пивная бутылка, вставленная главным помощником Гоши — Вовкой Подними Штаны.

Одетый в великанские батины портки и кирзовые сапоги, Вовка был самым свирепым шпанским хулиганом Голодая. В конце 1950-х годов он стал классным вором, а немногим позже чуть ли не паханом всего Северо-Запада. В 1960-е его старой кепкой-лондонкой венчали наиболее отчаянных пацанов острова. Следующим помощником считался красивый рыжий татарчонок Тахирка — сын потомственной питерской дворянчихи из дома на углу 17-й линии и Камской улицы. Во второй комнате их казенного жилища на синей обойчатой стене среди окантованных арабской вязью каллиграфически написанных цитат из Корана, рядом с портретом важного татарского деда, под стеклом, на темно-зеленом бархате висела золотая медаль с двуглавым орлом, выданная деду Тахирки за

верную службу русским царям и Отечеству по случаю двадцатипятилетия службы столичным дворником.

Третьей помощницей, в особенности по игрушкам, была любимица Гоши — крохотная кареглазая девчонка с чухонским носиком-уточкой, которую все звали Кудышкой, в отличие от ее чокнутого дяди Никудышки — кладбищенского нищего, небольшой величины мужичонки с бабьим лицом. Вместе с дядькой обитала она на Смоленском. Ее отец, маклак с барахолки, в 1940-х годах был взят «на посиделки» за какую-то политику да там и сгинул. Мать, ставшая ханыжкой, набегала раз в день на своих кормильцев и вытряхивала из их карманов дневную выручку, при этом страшно ругаясь, что ныкали от нее нищенскую мелочугу. Забрав гроши, убегала за «Ленинградскую» водкою — самой дешевой в ту пору: один рубль десять копеек за чекушку.

Кудышка на страсти-мордасти не ревела, а только сильнее сжимала свои крохотные губки, за которыми прятала часть денег, отчего становилась еще более похожей на уточку. Из этой уточки со временем выросла первая островная красавица, ради которой множество василеостровских и голодайских богатырей билось смертным боем. А она выбрала себе художника, предки которого лежали на Смоленском кладбище — последнем пристанище художественных академиков.

Малютка Кудышка и завершала подготовку к зимним праздникам, вонзая в снежный задок огромной богини хвостик из старой мочалки.

Начинались ледовые гульбища перед самым Новым годом, а заканчивались сразу за православным Рождеством, к концу школьных каникул. Моношил всем представлением сам Гоша-летописец, в вывернутом наружу тулупчике, в старом, с торчащими ушами мохнatom малахае похожий на страшноватого деда Чурилу или на древнее славянское божество вроде

Велеса. Он выводил убранную в бело-золотистый платок Тахиркиной матери Кудышку с красным мешочком в руках-рукавицах и ставил ее на лед по центру, между зимней богиней и елкой. Сам же со «снегурочкой» Степой становился подле бабы. Суковатым жезлом с петушиным навершием и консервными банками, прибитыми и привязанными к нему для звука, бил по льду несколько раз, приговаривая: «Солнце пришло, свет принесло, кто за него борется, тот им и кормится».

По этому сигналу из-за кустов с двух враждебных берегов выбегало ряженное медведями пацанье и устраивало на льду вокруг малютки бой-борьбу. Победившая сторона получала возможность первой славить девчонку.

Маски у них были из мешков. Два угла, перевязанные бечевкой, — уши, часть мешка, собранная и затянутая веревкой, — пяточок и две дырки по бокам — глаза. Все это надевалось на голову, закрывая шею, плечи, грудь. Получалось очень убедительное медвежье существо. Ряженые победители, старательно держась за руки, ходили вокруг Кудышки хороводом и славили:

Кудышка-Никудышка
Желанная, бескарманная,
У тебя в кармане горошинка,
А сама ты хорошенька.

А она, румянясь успехом, одаривала из красноситцевого мешочка пляшущее вокруг нее пацанье лошадиным лакомством — кусками жмыха и дурынды, краденными на Андреевском рынке Вовкою с товарищем.

Побежденный хор, вздергивая вверх и опуская до снега свои ручонки, картавил глупостные припевки:

Шундра-мундра — вот такая!

Шундрик-мундрик — вот какой... —

и, кружась с победителями вокруг Кудышки-Солнца, все вместе пели:

Капуста, капуста капустится,

Поднимется, поднимется — опустится...

Лучше всех плясал и пел Тахирка, за что более всех и награждался. Тем временем дед Чурила посыпал из консервной банки всю пляшущую братию овсом и, стуча жезлом, басом дьячка поздравлял: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю».

«Снегурочка» Степа вставала подле богини зимы на задние лапы, выворачивая наружу сиськи кормящей собачьей матери, и начинала подвывать им свое славление. Вдохновленная происходящим, старая пьяная проститутка по кличке Доброта сбегала на лед и, прихлопывая по льду латаными валенками, плясала девочкой, припевая деревенскую:

А на горушке снега сыплют, снега сыплют,

Лели, снега сыплют.

А нас мамочки домой кличут,

Лели, домой кличут.

А нам домой не хочется,

Нам хочется прокатиться

С горушки да до служки до елушки,

Лели, до елушки.

По берегам Смоленки стоял и зырил на происходящее внизу уважаемый люд с двух островов. Тут были известные невские дешевки — Лидка Петроградская и Шурка Вечная Каурка в со-

провожении своих прихахуев-сутенеров с Уральской улицы; дородная дворничиха — мать Тахирки — в белолебедином фартуке с огромной лопатой, которой очищают лед от снега; нищенствующий гражданин Никудышка, следивший своей кивающей головой за имевшей успех у публики Кудышкой; бесконечно крестившийся и бивший поклоны Дед Вездесущий — седой, жеванный жизнью старичок; две конопатые сестрицы-побирушки Фигня Большая и Фигня Малая; две-три никчемные старушки и несколько отпетых выпускников трудовых исправительных лагерей.

Иногда на ледяную затею заглядывал гроза межостровного пространства, сам квартальный милиционер по кличке Ярое Око, живший за мостом в одиноко торчащем на берегу Смоленки темно-красном доме. Но, не обнаружив безобразий, выкурив на берегу свою беломороканальскую папироску, уходил «ярить» других людишек.

С высоких береговых осин, как с театральных галерок, с любопытствующим участием взирали на ледовый спектакль многочисленные кладбищенские вороны, а взбаламученные окраинные воробьи своим чириканьем дополнительно озвучивали происходящее.

Завершая празднество, все общество, включая зрителей, кричало «Ура!». Только хулиганствующий пацан Вовка Подними Штаны всегда все портил: после «Ура!» он на всю Смоленку орал: «В жопе дыра!» Но, несмотря на это, все малые и большие человечки расходились со Святок довольные, и еще долго можно было слышать на Камской, Уральской, Сазоновской улицах приличные и неприличные припевки вроде:

Свинья рыло замарала,
Три недели прохворала.
Весело было нам,
Весело было нам...

Или:

Бундыриха с Бундырем —
Две подушки с киселем.
Пятый хвостик
Пошел в гости...

Последние ледяные Святки на реке Смоленке происходили в знаменательный 1953-й — год смерти Вождя. До следующего Нового года Гоша не дожил нескольких дней — застыл в своем чулане на 17-й линии. Об этом известила всех воем Степа-«снегурочка». Его нашли сидящим на волосяном диване и смотрящим своими глазами-бусинками на литографическое изображение патриарха Тихона. Как говорили местные алкогольные обитатели: «Тоска напала на уродца, а отогнать ее было нечем — вот и застыл».

Спустя день, в субботу, на другом острове, на хавире знаменитой голодайской марухи Анюты Непорочной, почил своей смертью великий островной вор-карманник Степан Васильевич, которого вся округа уважительно величала Мечтой Прокурора и который последние свои пенсионные годы поставлял елки для зимних забав на льду реки Смоленки.

Островные ярыги поминали обоих в холодный декабрьский понедельник. По этому скорбному случаю «целовальник» пивного рундука, что на углу 17-й линии и Малого проспекта, выдавал постоянным посетителям водку и подогретое пиво под запись.

С их уходом из мира перестали быть и остались разве что в памяти, и то мало у кого, ледовые гулянья на реке Смоленке между тремя кладбищами — православным Смоленским, армянским и немецким лютеранским — на двух островах стоостровного города.

Траншвай

Учиться в ленинградской средней художественной школе — СХШ — я начал в 1952 году. Поступил сразу в третий класс после того, как «завязал», вернулся из трудовой исправительной колонии во фраерскую жизнь. Это были годы громких победных маршевых песен, массовых спортивных шествий по площадям и проспектам во время «красных» праздников и огромных «усатых портретов», висящих на стенах домов, выполненных ловкими художниками на бязевых полотнищах сухой кистью («всухоча»). Из прошлой среды — детприемников НКВД и исправиловок — я попал в совершенно другую, неожиданную, интересную и, как ни странно, родственную для меня атмосферу.

Эта своеобразная школа единственная в городе подчинялась напрямую Академии художеств СССР, то есть выпадала из поля зрения Министерства образования и всех других его подразделений. Учителей для СХШ отбирали не всякие там гороно-роночиновники, а художники, причем неважно, такие они или сякие, важно, что люди от рисовальных дел. Согласитесь, для начала 1950-х годов это было необычно. Даже малозначимые предметы, такие, как физкультура и военное дело, преподавали нам если не «антики», то во всяком случае оригиналы. Учителя-«антики» достойны отдельных рассказов. А случайных или чудачков педагогов необходимо вспомнить — и пожалеть их.

Одним из самых выдающихся чудиков СХШ был знаменитый преподаватель по военной подготовке — подполковник Мищенко, по прозвищу Пантели. Вместо часто повторяемого в своей речи «понимаете ли», он произносил «пантели». Первое, что с ним сотворили сэхэшовцы, — повысили в звании. Объяснив ему, что, как художники-реалисты, мы не понимаем «двухэтажного» звания «под-полковник» и не хотим смотреть «под» кого-то, но вполне достойны обращаться прямо к полковнику Мищенко, Пантели. После дебатов и семинаров по этому важному, с позиций соцреализма, вопросу, произведенных параллельно во всех классах, где он «пантелил», нам удалось закрепить за ним звание полковника.

Этот оригинал — полковник товарищ Пантели — выводил нас на 3-ю линию Васильевского острова, выстраивал в шеренгу вдоль ограды Румянцевского сада и командовал: «Равняйся! Смирно! Направо от меня до следующего столба шагом — арш!левой,левой! Раз-два-три! Пантели?» Товарищу полковнику не чужд был юмор, и каждое занятие с нами он старался украсить острой шуткой: «Эх, вы, ху... ху... художники, пантели, сплошное худо. Ха, ха, ха, ха! Раз, два, три — пли на пятый!» «Голых баб рисуете, пантели, як в бане! Ха, ха, ха, ха! Раз, два, три — пли, пантели!»

Мы поддерживали и продолжали его «ха, ха, ха» перекатами, передавая эстафету от уставших смехачей следующим смехачам по цепочке, умножая его остроумие и сокращая урок минут на десять–пятнадцать. А он еще добавлял: «Вот вы смеетесь, а время быстро летит, как снаряд на велосипеде. Раз, два, три — пли!»

Большим оригиналом был и учитель физики Павел Семенович. Он по совместительству руководил где-то струнным оркестром. Мы, как творцы-художники, уважительно соглашались с этим обстоятельством и не мешали развиваться струн-

ным талантам физика за счет наших уроков. В начале занятия физик давал нам по учебнику какое-нибудь задание и исчезал за перегородкой своего кабинета. Там у него вместо физических приборов была целая коллекция струнных инструментов. Он их бесконечно не то настраивал, не то чинил. Короче говоря, физику мы изучали под брэнчание струн. Но все, что относится к звуку как физическому явлению, мы основательно усвоили.

Чужих, случайных, выпадавших из сэхэшовской преподавательской палитры, бурса отторгала — иногда жестоко и изоциренно... Пример тому — следующая история.

Еще со времен Исаака Бродского, одного из создателей СХШ, преподавателем русского языка и литературы была учительница по фамилии Подлясская, мать известного советского художника-пейзажиста. Подлясская по нашей шкале оценок приравнивалась к высшему разряду «антиков», то есть украшала собою учительскую команду СХШ. Она была знаменитой смолянкой — выпускницей Императорского Смольного института благородных девиц. Нам, совдеповским недорослям, с нею здорово повезло. Ей с нами, должно быть, тоже. В обыкновенных городских школах нашей смолянке запретили бы преподавать в ту пятиконечную эпоху, а мы благодаря ей получили подлинные знания. Учась у нее, сэхэшовцы понятия не имели об учебниках по литературе. Ее уроки-лекции были настолько интересны, объемны и содержательны, что я, вышедший из скачков-майданников, воспитанник Лаврентия Берии, слушал ее развесив уши. Подлясская прекрасно говорила по-русски — без мусора, но и без украшательств, слащавостей и сантиментов, которыми грешили тогдашние училки литературы. Могла сказать крепкое русское слово и даже выругаться, но всегда точно, по делу. Мы ее уважали, да что там — мы любили эту старуху.

Но она была стара, часто болела, с трудом передвигалась — ее мучила подагра. Чтобы помочь оправиться от недуга, школа (или Академия — не знаю кто) по предписанию врачей отправила ее на кавказские грязи лечиться. А к нам, пока ее лечат, пригнали из роно или гороно обыкновенную училку русского и литературы.

Вы представляете, что это было для нас — вместо смолянки получить фиг знает кого, да еще из гороно. Ну, и началось... Как раз в ту пору в Ленинграде происходила замена старых царских трамваев на новые — советские. Старые, хорошо нарисованные, органично вписывались в город: небольшие — пропорциональные к человеку, с удобными подножками, ажурными решетками вместо дверей и огромной «колбасой», на которой почти всегда висела гроздь безбилетных пацанов. Вместо них, любимых и удобных во всех отношениях, появились длинные, тяжеловесные, с «обрубленными» носами, без подножек, с механически открывающимися дверьми, с диким грохотом и скрипом передвигающиеся, крашенные в нахально-красный цвет — утюги на колесах. Питерский народ сразу же обозвал их «американками».

На них уже нельзя было бесплатно проехать с Петроградской стороны или Коломны на Васильевский остров к Академии художеств. Мы, сэхэшовцы, возненавидели эти новые утюги-трамваи.

И еще одна особенность того времени, повлиявшая на события: модные тетеньки стали носить длинные, ниже колен, вязаные кофты с низко посаженными огромными карманами на уровне опущенных в них рук. И эта училка пришла к нам, сэхэшатикам, в Академию художеств (мы тогда там обитали) в такой дурацкой кофте, да еще отвратительного «трамвайного» цвета. К тому же она, как говорят в народе, была поперек себя шире и практически не имела шеи. Повернуть голову не

могла — не на чем, поэтому разворачивалась только всем корпусом. Из-за своей грузности передвигалась по нашим длинным коридорам тоже интересно. Трогалась с места, от шага к шагу медленно набирала скорость, затем, по надобности, ее постепенно снижала и останавливалась. Эта фигура, манера двигаться всем корпусом, звон ключей в огромных карманах «трамвайной» кофты напоминали нам новые ненавистные «американки». И мы прозвали ее Трамваем. Но если она — Трамвай, то мы — пассажиры! Значит — поехали!..

Ученики всех классов, где она преподавала, сговорились и стали на уроках русского и литературы изображать пассажиров трамвая. Совместно разработали сценарий, как в классической итальянской комедии дель арте — с правом ежедневной импровизации. Идеи для импровизаций приносили из тех же «американок», ведь мы каждый день ездили на них в школу со всех концов города. Некоторые обязательные сюжеты повторялись во всех классах каждый день, то есть были ритуальными. Литературно-трамвайные уроки начинались с того, что один из нас — по очереди — непременно опаздывал. Только Трамвай открывала классный журнал, как вдруг дверь резко распахивалась, и в класс, как на подножку, вскакивал опоздавший. Учителька пугалась: «Что такое? В чем дело? Откуда ты взялся?» — «Извините, я вышел из-за угла, смотрю — а он набирает скорость. Мне пришлось вскочить, чтоб не опоздать. Виноват». Она либо выгоняла, либо впускала — по-разному. «Вскакивание на подножку» происходило ежедневно и в каждом классе.

Едем дальше. Учителька начинает классную переключку: «Герасимов Александр, Герасимов Михаил (у нас их было два), Михалев Борис, Хазов...» — а его нет. Вставал заика Осипов, староста и говорил: «А он з...з...з...здесь, в со...о...седнем ва...ва...ва...гоне».

Помните, в старых вагонах к потолку подвешивали ручки-держакИ на брезентовых ремнях? За них стоявшие пассажиры держались во время движения трамвая. Так вот, когда «красная кофта» вызывала нас к доске или к своему столу отвечать урок, мы шли к ней от своих мест, хватаясь за держакИ, словно бы висящие в воздухе, и отвечали, держась за несуществующую ручку. Когда она требовала опустить руку, сэхэшовец отвечал, что это опасно, можно не удержаться, трамвай движется. Она ничего не понимала в нашем «итальянском» театре.

Неизвестно, откуда приехала к нам в Питер эта «литературная» тетка, но по-русски она говорила ужасно. Подлясская к тому времени нас, детей войны, научила правильной русской речи, а «вязаная кофта» говорила, как запрещала нам смольянка: «рэмень», «пионэр», «кювэт». В отличие от Подлясской, она лекций не читала, а шпарила по учебнику. Когда пыталась что-то рассказать от себя, получалась такая тарабарщина, такая дикость, что нас «трясло» в эти моменты, как будто мы едем в неисправном трамвае и по очень неровным рельсам. Стоило ей неверно произнести какое-нибудь слово, мы резко — вжжжик, как при толчке, — сдвигали в сторону свои столы и выкидывали сумки или портфели в проходы. Но самое коварное в этих проделках было то, что мы все выполняли чрезвычайно серьезно, то есть работали, а смеяться во время работы запрещалось категорически. За смех наказывали «лявой» — очень болезненная и очень неприличная казнь. «Трамвайная» наша жизнь продолжалась год, изо дня в день, с разными добавками: с безбилетчиками, с заходами старшекласников в роли контролеров в середине урока и тому подобным.

Поначалу «трамвайная» училка пробовала сопротивляться, жаловалась завучу по общеобразоваловке Замбржицкой — Замбре, — не помогало. Мы так же вежливо продолжали «ехать в трамвае». Постепенно она перестала обращать внимание на

происходящее, механически отчитывала урок, спрашивала, давала задания и «отъезжала» из класса. К концу года сделалась совершенно спокойной, только изредка что-то в нашем поведении еще заставляло ее как-то замирать и выпадать из происходящего на несколько секунд.

Осенью к нам вернулась Подлясская. Первое, что она произнесла: «Скоты! Ваша прошлогодняя учительница — в сумасшедшем доме!» Через большую паузу староста наш Осипов — самый отпетый хулиган — в полной тишине произнес, заикаясь: «С...с...со...шла с рельс...»

Сэхэшовские „актики“

В среде сэхэшовского народа создавались свои законы, свой устав, свой фольклор, свой язык, и уже этим мы были непохожи на других школьных недорослей.

Главная идея, объединявшая нас, — идея творчества, и потому считалось, что творить мы можем не только на предметах «изобразилочки», но и на всех других уроках. Главное — творить ежедневно, ежечасно, ежеминутно и подчинять все окружающее этой идее. Все наши творческие акции всегда исполнялись дружно, искренне и от души, или, на местном послевоенном наречии, «наихрабрейше». Созданный нами язык стороннему человеку понять было трудно, а иной раз даже невозможно. Посудите сами: что значит «стелиться к наволочке»? Не знаете? — Ухаживать за девочкой. А если кто врал, тому вежливо, я бы сказал, даже ласково, задушевно, как бы намекая на что-то и почти шепотом произносили: «Не говори, подруга, об Уссурийском крае». Старых людей называли «морщинами», а вместо «сойти с ума» говорили «сойти с рельс» в память о действительно сошедшей с ума училке русского языка по прозвищу Трамвай.

Коллективное творчество на уроках называли «контузиями». Относились к ним всегда на полном серьезе и без смеха. За смех не по делу наказывали виновных «лявой» — очень неприятной казнью, совершаемой у текущей батареи центрального отопления.

Надо еще сказать, что все мы — сэхэшатики — составляли братство в честь соседнего с нами моста Лейтенанта Шмидта и в серьезных случаях друг к другу обращались, естественно, с полным уважением: «О, брат мой, скажи на милость...» и так далее.

Да, у нас был даже свой гимн:

Колпак мой треугольный,
Треугольный мой колпак.
А вдруг он не треугольный?
Значит, это не мой колпак!

Исполнялся гимн преимущественно глухонемым способом — жестами. Представляете? Только четыре слова произносились вслух. Попробуйте!

Хорошие творческие идеи, принесенные на наш круг-вечер любым сэхэшатику, разрабатывались и репетировались, а затем разыгрывались сразу в нескольких классах одновременно. Представляете, преподаватель, выйдя из «контузии» в одном классе, в другом попадал точно в такую же. Естественно, что тот, кто был не в ладу с юмором, мог «поехать головой» или «сойти с рельс».

Для нашей школы учителей набирали художники, может быть, чиновники, но все-таки художники — люди «с тараканами». Никакое роно таких учителей не пустило бы на свой порог. Прежде всего, они были личностями и хорошо образованными специалистами. Конечно, в старинные времена их бы обозвали чудаками, в наше теперешнее время — чокнутыми, а в 1950-е мы их заслуженно причисляли к «антикам». Самые выдающиеся из них выделялись в отдельную «античную кучку-могучку». Про них-то я вам и расскажу.

Если по старшинству, то первым, то есть самым старым, а лучше сказать — просто древним «антиком» был, конечно, наш

преподаватель черчения Форматка. Это прозвище, извините, заслонило для меня его имя и отчество. Наши уже пожилые преподаватели говорили, что в их рисовальном отрочестве Форматка был абсолютно таким же, как сейчас перед нами. И еще рассказывали, что он якобы учился в Академии вместе с Федором Бруни и Карлом Брюлловым и подавал фантастические надежды как выдающийся рисовальщик, но жизнь сделала из него Форматку. И он, со своей старческой худобой, небольшим ростом, в поношенной черной паре при обязательной белой рубашке с мохрящимся воротником и галстуком в «ленинский» горошек, ходил мелкими шажками между нашими досками, опустив глаза в пол и держа руки за спиной. Не обращая на нас никакого внимания, ходил и пел своим ослабевшим древним голосом всегда одно и то же: «Я могу построить дом... Я могу убить человека... Я все могу... Черчение — наш хлеб в старости...» Через некоторое время снова скрипучим голосом повторял: «Я все могу... Черчение — наш хлеб в старости...»

Говорили, что ему уже давно за сто лет и что некоторые старательные чудачки даже требовали для него в каких-то инстанциях персональной пенсии, посылая Форматку к врачам для исследования. Но как бы там ни было, он действительно, безо всяких усилий со своей стороны, научил нас профессионально чертить. Свое малое дело старик знал в совершенстве, а его метод «спичечного коробка», на примере которого мы учились всем видам проекций, я усвоил на всю жизнь.

Следующим «антиком» по нашим спискам значился Борис Александрович Фишман, преподаватель географии, сокращенно — Боришман. Наивнейшая и добрейшая личность, обожавший все слова, заканчивающиеся на -ция: цивилизация, коммуникация, электрификация и так далее. У нас в честь его слабости была изготовлена огромная простыня-шпора с са-

мыми невероятными словами с обожаемым им -ция. И если отвечающий мог ловко вставить в свой ответ несколько слов из этой «простыни», то получал всегда на балл выше. «Простыню» почему-то называли Талмудом.

Мой однокашник, хулиган Андрюха — Коля Андреев, который потом утонул в пруду, охотясь за гусем, на его урок приходил обязательно с рыжим тараканом в спичечном коробке. И ежели Боришман вызывал его отвечать, то Андрюха пускал своего рыжего заключенного по черной классной доске, а мы хором кричали в испуге: «Ой, кто там бежит?!» — «Кто? Где? — вскрикивал, обернувшись, Боришман. — Опять таракан, что ли? Откуда он взялся?» — «Да это не таракан, просто рыжий побегун какой-то, враг, одним словом, прибежал на географию», — отвечал Андрюха. «Какой такой рыжий побегун, еще чего не хватало на мою старую голову?! Уберите врага!» Мы все бросались к доске и долго ловили рыжего, Андрюха тем временем осваивал учебник. Не в меру разбушевавшихся, впавших в темперамент сэхэшовцев Боришман ругал фиглярами. «Все вы фигляры, даже нет — вы дети старого фигляра, вот вы кто! А вы, Кочергин, просто гаер, и я имел несчастье вас учить, Кочергин. Это я вам скажу через много лет и даже не поздоровуюсь. Я же вам в прошлом году поставил „пять“, а в этом вы не знаете, где Мадагаскар... Это вот... Это вам вот... Это мне — вот... Это всем нам — вот...» И во время этих замечательных реплик он манипулировал тонкими руками над своей седой головой, как бы посыпая ее пеплом. «И вы, Кочергин, хотите, чтобы я вам сказал после этого нежное „ты“? Нет, вам не выйдет этого... С вами все, Кочергин, вас нет, да-да, нет и не будет! Пусто! Фу!» — И он дул на меня, и весь класс дул на меня, и меня действительно не стало в классе, я действительно исчез за дверь. Но географию мы все-таки у него изучили основательно, а один из нас даже поступил на географический в

университет, предав все рисовальное дело. Борис Александрович сильно этим гордился.

Одним из самых популярных «антиков» в среде сэхэшэвского народа был Великий Шимоза. Личность его настолько знаменитая, что по весне, когда высвечивались сырые стены питерских домов и между ними быстрее начинали бегать в ту пору еще красные трамваи, на стенках и на трамваях можно было прочесть написанные мелом преданные слова: «Да здравствует Шимоза — великий потрошитель банзаев!»

Познакомился я с ним на физкультуре — моем первом уроке в СХШ: ее-то он и преподавал. Но прежде чем я попал в великолепный зал Академии художеств, местный Баян и одновременно главный комсомолец рассказал мне чудную былинку про Шимозу. Повторяю ее вам, как сам слышал.

После падения Берлина и окончания войны нашего героя, опытного физкультурного бойца и комсомольца, перебросили на японский фронт, где он окончательно и со всех сторон проявился.

Надо вам сказать, что сэхэшэтики в ту пору японского агрессора называли просто банзай. Так вот, наш физучитель прославился на весь японский фронт как главный потрошитель банзаев. Талант этот рос в нем не по дням, а по часам и вскоре дорос до славы. Им заинтересовались японские генералы, адмиралы, маршалы и фельдмаршалы и, наконец, сам император банзаев — Микадо. Он-то и приказал своим самураям поймать русского потрошителя живым и теплым и поставить его перед ним на ковер для ближайшего рассматривания. Но только в конце войны, и то после случайной контузии на всю жизнь, удалось им пленить нашего богатыря. Связав контуженого русского, самураи подводной лодкой через свое Японское море доставили его во дворец Микады, прямо на ковер, как клялись и обещали. И тот вместо казни «убивца» поддан-

ных империи по своей японской непонятливости присвоил нашему физкультурному герою почетное звание самураев — Шимоза, что в переводе с древнеяпонского означало «наихрабрейший». И после угощения рисовой водкой отпустил Шимозу на родину, чтобы он там дергал и шикал на всех своей контуженной головой.

Познакомившись с романтической легендой, я не без любопытства вошел в спортивный зал Академии художеств. В центре его орущая куча тел моих одноклассников, перекатываясь в разные стороны, кого-то тузила или потрошила. Рассматривая эту кучу-малу, я не заметил, как по периметру зала почти без звука бежит какое-то тощее, длинное существо, похожее на увеличенного паука «коси-сено», никакого внимания не обращая на происходящее хулиганство. Обежав полный круг и оказавшись напротив кучи-малы, Шимоза по собственной команде перешел к бегу на месте, затем остановился и, дергая головой, шикая каждые пять-шесть секунд, скомандовал своим скрипучим голосом: «Прекратить! Я кому говорю. Фить! — дергая головой. — Я с вас высчитаю... Фить! За мной!» — И из бега на месте перешел в спортивный бег. А через несколько секунд вдоль зала за дергающимся и шикающим «коси-сено» бежала шеренга моих одноклассников, точно повторяя все его подергиванья и шиканья. Посередине лежал разорванный волейбольный мяч.

Ничего подобного нигде и никогда я не видел. Куда я попал? Что за кино? И при чем здесь древнеяпонский? И только я пожалел себя, как передо мною остановилась в беге на месте шеренга пацанов во главе с Шимозой, и он своим высоким голоском произнес: «Ты кто такой? Новенький? Беда-лебеда! Фить! Становись! Я кому говорю... Фить! Чудо-юдо-рыба-конь, фить! За мной! Делай так! Раз-два, фить! На счет „три“ руки вверх, фить!»

Пришлось стать в строй — а куда деться? Поначалу я не решался участвовать в этой кутерьме, но со временем втянулся и стал дергаться и шикать, как все, а что, рыжий я, что ли? И пошло-поехало: «Делай раз, фить! Чудо-юдо-рыба-корюшка». И так семь лет подряд. Правда, вначале только на физкультуре. Со временем же и на других уроках стали мы шимозить эту банзайскую «контузию», то есть шикать и дергаться ни с того ни с сего. Да и сейчас иногда она, то есть голова, дергается уже сама по себе, а вроде не участвовал ни в каких кампаниях. Может быть, в память о «наихрабрейшем», а может быть, уже и того — дорисовался. А? Чудо-юдо — морские товарищи... Я кому говорю, фить! За мной!

Но главным «антиком», который поначалу произвел на меня странное, даже пугающее впечатление, был учитель рисунка Шолохов. Расскажу только один эпизод.

Вторым предметом, после физкультуры, моего первого сэхэшовского дня был рисунок. Не без труда разыскав класс рисунка, я был страшно поражен. Мои хулиганы-однокашники выстроились в очередь перед дверью класса. Причем все как один в левой руке держали по целому букету хорошо заточенных простых карандашей. Что такое, снова какой-то спектакль? Я застыл от неожиданности, глядя на эти аккуратные «букеты». В кулаке каждого сэхэшатика красовалось по двадцать одному карандашу — не меньше, не больше.

Я не был посвящен в эту игру и имел при себе только пять или шесть штук, к тому же не очень заточенных. У крайнего одноклассника спросил: «Зачем столько карандашей?» — «Это — закон, иначе не пустит, увидишь», — ответил он мне важно. Я встал в конец очереди со своей несчастной горсткой.

Точно по звонку открылась дверь класса. Из нее стремительно вышел низенький человек, с платиновыми патлами во-

лос. Быстро прошелся по ребячьей очереди, осматривая своими строгими глазками букеты карандашей и, остановившись против меня, спросил: «Откуда свалился?!» Заика-староста Осипов ответил за меня: «Н...о...о...новенький, п...о...поступил в этот год». — «А ты что, его не посвятил? А ну, собери со всех по карандашу. Новенький, слышишь, чтоб завтра в зубах — двадцать один, и заточенные, как у всех. Понял?»

Я кивнул. Только после этой обязаловки впустил нас в класс рисунка.

Назавтра я стоял с карандашным букетом в кулаке в очереди пацанов. Шолохов, подойдя ко мне спросил: «Ты что, считаешь только до двадцати? Осипов, почему не внушил? Закон есть закон. Дуй отсюда!» Главное, что я подумал в тот момент: «Как же он так быстро их сосчитал — во дает!» В этом было что-то сказочное.

Со временем я понял его свирепую систему — рисунок продолжался четыре часа с одним перерывом. Чтобы каждый из нас полностью сосредоточился на рисовальной работе и не отвлекался на заточку, мы должны через пять-шесть минут менять тупой карандаш на острый. В перерыв подтачивать всю кучу затупленных и снова безотрывно продолжать рисунок. Он не давал нам расхолаживаться, отвлекаться.

Мы в течение четырех часов думали и отдавались только одному делу — рисунку. Не случайно, что наиболее значительные художники в Питере пятидесятих–шестидесятых годов учились главному предмету «изобразилки» у великого сэхэшовского «антика» Леонида Сергеевича Шолохова.

К членам «кучки-могучки» принадлежал и наш завуч по искусству Иван Иванович. Прозвища он почему-то не имел и звался у нас своим именем и отчеством. Ростом он был мал, чертами лица мелок, глазами сердит, поведением строг, а сердцем добр. Про него много всякого говорили, но запомнились

своей неожиданностью его исторические выражения, вошедшие в сэжэшовский лексикон.

Говорил Иван Иванович с некоторой грустной напевностью и с южнорусским или украинским акцентом. «Моно-то оно моно, да кому это нуно...» — отвечал он на предложение «совершить подвиг», ну, например, вымыть стекла в живописном классе. «Рефлекс должен быть мягким, как подушка, от умытого стекла мягкость в рефлексе не получишь».

«Я сторонник за открытую шею...» — сказал он нашему преподавателю по живописи после долгого «рассмотрения» его новой учебной постановки — седой натурщик в военном кителе с замотанной красно-охристым шарфом шеей.

Иван Иванович искреннейшим образом хотел покончить со всякими странными безобразиями, которыми была богата школа. Особенно ему досаждал некий Лакабарака, которого все сэжэшатики сильно чтили и уважали. Он даже имел титул «Великий потрясователь рода человеческого в шапке земли греческой», а чтился как борец за свободу и защитник всех обездоленных детей моста Лейтенанта Шмидта. Легендарная личность Лакабарака скрывался от генералов-начальников в дымоходных трубах и ходах, которых в здании Академии было предостаточно. И оттуда поддерживал всех преданных ему сторонников.

Надо вам сказать, что в коридорных стенах, если встать на цыпочки, на высоте наших подростковых голов рядом со входными дверьми находились круглые дымоходные отверстия, закрытые латунными вьюшками. По рассказам «морщин», то есть старых служителей и вообще всех, кто был в возрасте и еще что-то помнил, перед каждой входной дверью на лестнице до революции стоял стол, за столом сидел сиделец, который выдавал ключи от мастерских. При нем на столе стоял обязательный самовар, а в тумбе стола находились связки буб-

ликов. Все оголодавшие студенты-художники могли у ключников за малую плату или в долг выпить чаю с бубликами. Но произошла революция, и исчезли ключники-сидельцы, с ними — самовары да бублики, а дырки в стенах остались и дожили до наших дней. Так в эти дырки мы и кричали всякие слова по поводу Лакабараки.

Иван Иванович ненавидел Лакабараку как одного из главных врагов школы и дисциплины и по возможности старался ущучить сэхэшатика, орущего в трубу. Пойманного с поличным он поворачивал за шкварник к себе лицом и, блестя сердитыми глазками, говорил ему: «В трубу кричишь, буги-вуги танцуешь, а у самого не у тоне, не у цвете... И думаешь, что ты гений! Да какой ты гений! Г... ты, а не гений!» Каждый из нас обруган был этой «мудростью» много раз и запомнил ее на всю жизнь.

Ваня-жид

Не удивляйтесь, так звали питерского юрода-шатуна, который обитал в пятидесятые годы в центральном, имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, районе нашего города. Точнее, в старейшей его части — Летнем саду, созданном когда-то вокруг собственного малого дворца первым российским императором Петром Алексеевичем. И был он, Ваня-жид, в ту пору одной из достопримечательностей этих мест.

Все, кто застал начало 1950-х, помнят, что город наш был наводнен огромным количеством разного рода распивочных заведений. И даже в петровском парадизе — Летнем саду — их было целых два. Одно — дощатое, крашенное масляным зеленым кобальтом — называлось официально «Палатка № 1» и находилось сразу за Летним дворцом Петра I. У местных завсегдатаев его величали просто «У Петра». Другое, более роскошное, числилось рестораном и занимало Кофейный домик Карло Росси, а в народе именовалось «У Ивана». Наверное, в честь памятника Ивану Андреевичу Крылову, который, как вы знаете, совсем недалеко. В том и другом можно было неплохо выпить и хорошо закусить. «У Петра» — самообслуживание прямо на воздухе, зато дешево. «У Ивана» — со скатертью и полным к тебе уважением, через официанта, но, естественно, уже за другие деньги. Некоторые, которые солидные, начина-

ли с получки-пенсии гулять «У Ивана», а через какое-то время оказывались «У Петра» и даже «в записи», то есть в долгах. Вообще-то, надо сказать, по сравнению с другими популярными местами города, «У Петра» да «У Ивана» собиралась элита городского бражничества — старший и даже иногда высший командный состав победившей армии. Уже, правда, комиссованная, списанная на пенсию или уволенная по инвалидности, но все-таки в прошлом командная, начальственная, уважаемая часть военного человечества. И думаю, что не случайно высший свет наших бывших богатырей выбрал петровский рай для пропития уже никому не нужных в мирном мире своих жизней.

Среди них в качестве приживала, шута, юродивого обитал и кормился наш Ваня-жид. Он был тогдашней принадлежностью Летнего сада, как и пораженные войной деревья, скульптуры, решетки, скамейки, дорожки, воздух. Военные начальники относились к нему благосклонно, потчевали опивками пива, остатками закуски, а по праздникам отпускали даже пайку водки, не требуя с его стороны никаких услуг.

Одевался Ваня зимой и летом всегда в одно и то же зимнее пальто с ободранным меховым воротником, в далеком прошлом — черное, и зимнюю потертую шапку с надорванным ухом. Сам он ничего никогда не просил, только правый уголок его рта при виде питейных напитков и еды начинал немного подтекать, а вопрошающие водянистые глаза еще больше туманиться. В самые кульминационные моменты, когда стопки, стаканы, кружки пьющих объединялись с их губами, он засовывал в рот часть своего указательного пальца и начинал посасывать, как младенец.

Рыхлая, тяжеловатая фигура шатуна резко увеличивалась книзу и заканчивалась короткими, разной длины ножками, одну из которых вывернуло рождением или войной. От этого он

странно передвигался: шел — бежал — подпрыгивал. Всю жизнь вопросительный взгляд Вани при общении с окружающими людьми сопровождался застенчивой улыбкой.

Он был совершенно безотказен, старался услужить всем — и старым, и малым. И детвора пользовалась этим качеством нашего героя с лихвой в своих тогдашних играх и проделках. Он у них вечно водил. Происходило все жутко просто: становились в круг, и кто-то из мальчишек-малолеток начинал считалку:

— На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Кто ты такой?

— Ваня-жид.

— Ну и води.

Он и водил до тех пор, пока всем не надоело.

Но, пожалуй, главной страстью Вани-жида были игры с малолетними детьми «в песочек». Вокруг его тетки, дедушки Крылова, в ту пору находился целый детский городок с песочницами, качелями и скамейками. Ваня с блаженной улыбкой сидел в песочном коробе и лепил детям «куличики». Все, и старый, и малые, были друг дружкой очень довольны. Обращались к нему безо всяких, просто — Ваня, а когда слишком радивые няньки или бабки выгоняли Ваню из песочницы, то детишки поднимали страшный визг, бросались ведерками с песком и вели себя очень даже неприлично, требуя возвращения своего дружка-приятеля. А ежели дворники совсем выдворяли бедного с площадки и даже из-за кустов, откуда он подсматривал за малышами, Ваня в горе возвращался «К Петру» или уходил раньше времени на свою писательскую, имени Фурманова, улицу, где жил с бабкой Дорой (или дурой). Он звал ее то Дорой, то дурой. Почему так, понять было труд-

но. Иногда, когда он задерживался, она приходила за ним — крошечная, убранная в древний шерстяной потертый платок, стояла в стороне, молча покачиваясь, как метроном, пока наш Ваня не замечал ее, и они исчезали вместе из сада, держась за руки.

Памятник Ивану Андреевичу Крылову Ваня вообще считал своим сородичем, а когда в его честь комиссованные командиры поднимали «У Петра» стаканы, наш Ваня обязательно присоединялся к ним и тоже выпивал за Ивана Андреевича и всех его зверей, что поместил дяденька-скульптор на пьедестале внизу.

Имел ли он какое-либо отношение к древнему народу, никто не знал. А на вопрос, почему же все-таки его называют Ваней-жидом, а никем другим, Ваня, захлебываясь смехом, отвечал, что брат его старший вообще прозывался Марой Полосатой, а полос-то у него никаких не было. Вот вам и все.

Правда, некоторые важные командиры-начальники «У Петра» рассказывали, что в войну его, голодного, хряснуло взрывной волной о стенку дома на Гангутской улице. С тех-то пор и стал он Вечным Ваней-жидом и ходит по питерской земле и Летнему саду, числясь блокадным инвалидом. А волосы у него не растут потому, что дед его, Карабас Волосатый, как его бабка Дора или дура звала, все их семейные волосы на себя забрал и ему ничего не оставил.

— Если бы у меня росла борода, я бы портретом Маркса-Энгельса по саду ходил, и все мальчишки меня бы боялись, и Мара был бы спокойным.

— А где же твой Мара?

— В блокаду немец его бомбой побил.

Увидев, что я рисую, Ваня страшно обрадовался и стал просить, чтобы я нарисовал для него скульптуру — «мраморку» под названием «Красота». Он ей симпатизировал, или, как гово-

рили знатоки, имел ее своею барышней, и вел с ней интимные беседы. Весной, когда обнажали скульптуру, снимая с нее зимнее деревянное одеяние, Ваня где-то добывал цветы и укладывал их у ее ног. Садовые служки, заметив Ваню подле «Красоты», ругались и гнали его вон.

— Ты что, позорник, с мраморкой-то блудишь? А ну, пошел от нее прочь, шатун развратный...

— Я с детства ее знаю. Дора-бабка водила нас с Марой Полосатой, братиком моим, его в войну бомбой ударило, в Летний сад к Ивану Андреевичу на зверей смотреть. По дороге всегда с нею знакомила: «Смотрите, какая тетенька хорошая — всем улыбается».

Тогда она мне не нравилась, очень уж большая была. Да мне тогда вообще ваза нравилась, вон которая красная у того входа стоит, за прудом. А брат мой Мара на нее плевался и хотел даже, когда ростом прибавится, побить за то, что голая стоит и страшила зубастую за собою прячет. Но не успел, его бомбой стукнуло. А я с нею уже после войны подружился, когда понял, что страшила людей и меня боится, поэтому и прячется за нее. Ты не говори о ней мальчишкам, ладно, а то дразнить будут. И так-то пишут всякое на ресторане: «Ваня-жид + „Красота“ = любовь» — и даже хуже.

Ты нарисуй мне ее, а?! Нарисуешь, обещаешь?! Дай честное слово! Ой, как будет здорово! Хочешь, я тебе все твои карандаши заточу? Договорились? Нарисуй, только без страшили, пожалуйста. И не говори, что это для меня. А я ее в дом отнесу и на стенку в своей комнате повешу. Зимой смотреть на нее буду. Я здесь за шкафом живу, на Фурмановой улице, дом пять, недалеко, понимаешь? Мальчишкам только не говори, а? Мара бы их за это наказал, но его в блокаду бомбой трахнуло. А она красивая, добрая, меня не гонит и рожи не морщит, как все другие красивые женские тетки. Я видел, как один мальчишка

здесь, в саду, рисовал. Карандашик слюнявил и рисовал. Здорово получалось.

А вечером по набережной в сторону Литейного моста и улицы писателя Фурманова, написавшего книжку про легендарного Василия Ивановича Чапаева, двигалась веселая кавалькада, состоящая из уличных пацанов, впереди которой шел-бежал Ваня. Они, подпрыгивая в такт, орали дразнилку:

— Ваня-жид, Ваня-жид по веревочке бежит... Ваня, Ваня, Ваня-жид, он копейкой дорожит... Ваня, отдай копейку...

III





Peter Cuorella ↑

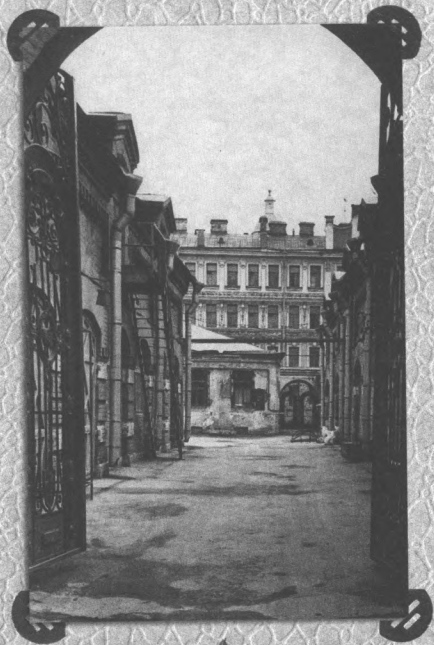


Brooklyn Cuorella
↑



↓ Kamekita ↑





↑
Большая Конюшенная,
"Богородицкий двор",
Среднеперелеска ул., 11



↑
Дом Екатерины Думиной



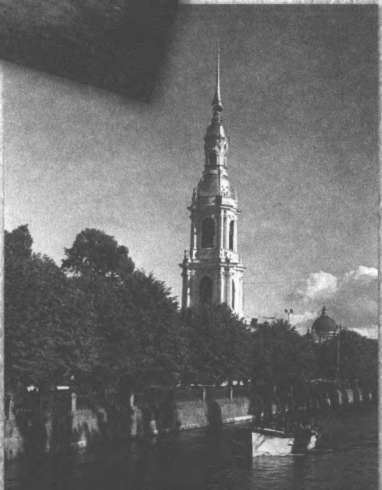
Безымянная ул.

ИНВЕНТАРЬ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Spital Square



St. Peter's Church





Дом
Андрея
Ремпоярсади

← На пр. Мелина,
Карагюмүш гоу



↑ Тамарагүмүш репержок

Кажитак

Островной романс

С. М. Бархину

История, которую я попытаюсь вам рассказать, наверное, могла произойти только на Васильевском острове в Питере, являясь отголоском бывшего единства островных жителей и, я думаю, одной из последних историй такого рода.

Хочу вам напомнить, что сразу после войны в нашем городе по не известным мне причинам открылось огромное число питейных заведений: больших, малых, средних. Причем они совсем не пустовали, а наоборот, были основательно посещаемы и даже в иные дни забивались гражданами до предела. Сейчас, глядя на это как на прошлое, можно назвать их своего рода клубами, где встречались и где оставляли огромный заряд своей энергии списанные государством и не нужные мирному времени солдаты, сержанты, офицеры армии-победительницы. Объединяло этих людей одно — война, вернее, воспоминание о ней. И, как ни парадоксально, для большинства из них дни войны были самыми светлыми днями их жизни.

Многие бывшие слесари-водопроводчики, просто слесари, столяры, электрики и прочие ремесленных дел люди в войну, по возникшим обстоятельствами, благодаря своей храбрости и сметке, стали командирами взводов, рот и батальонов, подчиняя себе в боях множество людей. А выйдя на гражданку, должны были снова вернуться к своим верстакам, но уже не

смогли этого сделать и спивались в шалманах и пивнухах, вспоминая штурмы Кенигсберга, Будапешта, Берлина.

Естественно, что среди всей этой комиссованной военной братии на одного битого было два калеченных, как тогда говорили, то есть семьдесят–восемьдесят процентов инвалидов разных мастей. И если заглянуть под столешницу, то на десять голов, возвышавшихся над питейными столами-стойками, вы могли обнаружить семь-восемь пар ног, а то и менее.

Между этими бывшими военными человеками обитал и кормился своеобразным способом артиллерийский Капитан, пораженный в грудь и шею осколком снаряда. Пишу «Капитан» с большой буквы, так как никто никогда его по-иному не звал, и это звание стало его именем-кличкой.

Рассказывали про него целую романтическую легенду — как он после госпиталя вернулся в родную деревню под нашей Гатчиной и нашел ее целиком сожженной. Единственное живое существо, оставшееся от всей деревни и обнаруженное им на пепелище собственного дома, была маленькая черная курица китайской породы. С этой-то китайкой за пазухой он и оказался среди таких же списанных войною бездомников в питерском послевоенном развале. А к пятидесятым годам уже прижился на Васильевском острове и даже обрел в подвале разбитого бомбой Андреевского рынка свою собственную отгороженную конуру.

Пьянские соседи в шутку обучили способную, черную как смоль курочку актерскому ремеслу, и со временем Капитан стал не только кормиться этим, но со своею «актрисой» превратился в необходимость всех островных пивнух. Каждое утро он в неизменной артиллерийской шинели с поднятым воротником, закрывавшим обезображенную войной шею, выходил из своего подвала на работу. На вдавленной ранении груди под шинелью сидела его маленькая ручная курочка, которую, кстати, звали Черна.

Обычно их путь начинался с 1-й линии Васильевского острова, ближе к Среднему проспекту, — в этом бойком месте раньше всех открывались пивнухи. Затем они сворачивали на Средний, доходили до 8-й и 9-й линий и поворачивали налево, к Большому. По Среднему проспекту от 1-й до 8-й линии было не меньше десяти питейных заведений, и, в зависимости от времени года, погоды и обстоятельств, на Большом проспекте они со своим аттракционом оказывались уже где-то к вечеру. А после шести их можно было встретить в одном из семи шалманов, что находились на левой стороне Большого, если стоять лицом к Гавани, между рынком и 1-й линией Васильевского острова.

Представление везде и всегда начиналось просто и одинаково. Капитан подходил к стойке или столу шалмана, неторопливо доставал из-за пазухи свою черную кормилицу и ставил ее на столешницу. Она без каких-либо стеснений обходила всех присутствующих бражников, останавливалась поочередно возле каждого из них, поворачивала головку направо, затем налево и громко цокала своим маленьким клювом: «ц-ц-ц-ц-ц», мигая на объект выпученным круглым глазом — сначала одним, потом другим. Каждому застольному инвалиду полагалось по четыре поворота и четыре цоканья. Таким образом Черна, двигаясь с одной стороны стола на другую, обходила последовательно всех пьющих и всех дающих. Угощая ее, угощали, естественно, и хозяина — Капитана. Сам он ничего никогда не просил. И не говорил. Всего, чем можно было говорить, он лишился в войну.

Закончив представление, Черна устраивалась на левом плече артиллериста и, если он задерживался дольше обычного в пивнухе, прятала клюв под крыло и засыпала заслуженным образом. Когда ее хозяин начинал сильно кашлять, она, расхаживая по столу, стучала клювом по стакану или пивной круж-

ке, что означало необходимость дополнительного угощения Капитана чем-либо питейным для согрева его простреленной груди.

В союзе с китайкой наш Капитан сделался достопримечательностью, затем гордостью, а со временем — совестью всей покалеченной войной пьющей василеостровской братии, а Черна — равноправным членом островного товарищества. Надо сказать, что в присутствии Капитана посетители пивнух вели себя более пристойно, и если без него горячо спорили и даже бились из-за неточных подробностей какого-либо штурма, то стоило только появиться его тощей костлявой фигуре в проеме двери шалмана и открыть изуродованную шею и подбородок, все благочинно замолкали и дисциплинировались.

С годами кашель его стал усиливаться, а в начале пятидесятых он уже не мог продержаться на ногах весь аттракцион: для него ставили стул или табурет. Главнокомандующего генералиссимуса он пережил всего на два месяца. Умер он от туберкулеза в своем подвале в последних числах апреля 1953 года, в неожиданно свалившемся на город весеннем тепле. Похороны его состоялись первыми числами мая, когда на островном Большом проспекте проклюнулись и чирикнули зеленью старые тополя.

Начались они на самой узкой улице острова, да и всего города, — всего семи шагов шириной — в ту пору Соловьевском переулке, ныне — улице Репина, протянувшейся почти через весь Васильевский остров от Румянцевского садика на Университетской набережной через Большой проспект до Среднего в его начале.

Было совсем рано. Окрашенные серебрянкой «тюльпаны» — громкоговорители на стенах домов — еще не включили свою утреннюю бодрость, а со всех концов острова, со всех его линий и проспектов потянулось и заковыляло в эту уличную щель

списанное инвалидное воинство на обряд прощания со знаменитым Капитаном. Вскоре вся часть улочки между Румянцевским садом и Большим проспектом была заполнена абсолютно трезвыми, чрезвычайно серьезными, вымытыми, выстиранными, отутюженными, бритыми, запряженными в ременную упряжь, кому как положено, при всех орденах, медалях и инвалидных колодках военными людьми без погон.

Среди них можно было увидеть все виды человеческого калеченья, которые подарила народу последняя Отечественная. Здесь были «обрубки» — полные, половинные и комбинированные; «костыли» всех видов — правые, левые, полуторные; «тачки» — совсем безногие, с зашитыми кожей задницами; «печенные» в танках и самолетах — с запекшимися лицами, руками; просто обожженные, простреленные навывлет и с остатком — «сувениром» — в голове, груди, животе, раненные осколками во все возможные места; контуженные разных видов с дергающимися головами, руками, подскакивающие и взвизгивающие. Был даже один длинный, по прозвищу Гвоздь, периодически бивший себя по голове. Словом, каждой твари по паре.

Надо всем этим печальным жанром возвышался и придавал событию некую историческую торжественность Румянцевский обелиск, торчавший точно по центру уличного коридора между порталами довольно высоких для узкой улицы домов, выходявших фасадами на невскую часть острова. Памятник был поставлен в далеком XVIII веке в честь победы над турками русской армии во главе с генерал-фельдмаршалом Петром Александровичем Румянцевым в сражении у Рябой Могилы. Но черный одноглавый орел, венчавший обелиск и гордо смотревший налево вверх, на истоки чудской Невы, собравшимся внизу, на брусчатке этой почти никому не известной питерской улочки, напоминал ненавистный немецкий символ.

Почти у выезда из Соловьевского переуллка на Большой проспект, у бедного двухэтажного домика с окнами только на втором этаже и единственной небольшой дверью, прикрывавшей крутую деревянную лестницу, ведущую сразу на второй этаж, стоял самый лучший, какой только нашелся на острове, катафалк, крашенный любимой народом серебряной краской, с белыми и черными окантовками, с четырьмя колонками-obeliskами, по форме напоминавшими Румянцевский и окружавшими лафет. Запряженные в катафалк две белой масти лошади в черной упряжи, с черными султанами на головах, жевали сено из подвешенных к оглоблям мешков.

На втором этаже этогодомишки, в обителище служителей Смоленского кладбища, таких же уволенных в запас по ранениям и за ненадобностью, заканчивался обряд омовения и положения во гроб Капитана. Несмотря на то что никто не знал, крещеный он или некрещеный, ритуал на всякий случай был исполнен по всем православным правилам, только без батюшки. Для этого бражники пригласили от Николы Морского, что на другой стороне Невы, известную в то время в Питере бывшую монашку, а ныне нищенствующую Мытарку Коломенскую. Она при свечах омыла и отпела нашего героя, выпив при этом две бутылки церковного вина кагора. Гроб с убранным в свою артиллерийскую шинель Капитаном спустили по лестнице, передавая из рук в руки, на ожидавшую внизу улицу. Там деловито установили его на лафете между колоннами-obeliskами и стали строиться по четыре в ряд. Ровно в восемь по приказу усатого обрубка-танкиста, похожего одновременно на всех усатых вождей, колонна тронулась и стала выходить с этой узкой «птичьей» улицы на Большой проспект, в сторону Финского залива.

За катафалком, как положено, шли три двуручных инвалида, неся малиновые бархатные подушечки с наколотыми на них орденами и медалями усопшего. За ними — старшие по зва-

нию офицеры, следом младший командный состав, затем рядовые. «Тачки» двигались в центре строя. Из Соловьевского на Большой вышло около половины роты, но по мере движения колонны по Большому проспекту из всех выходящих на него линий, подворотен, парадняков, нор и щелей присоединялись к ней и становились в строй все новые и новые инвалидные товарищи, и к повороту на Детскую улицу за катафалком с Капитаном шло-ковыляло уже многим более роты.

Они шли на одно из первых кладбищ Санкт-Петербурга — старинное Смоленское кладбище, где за двести лет до этого Блаженная Ксения похоронила мужа Андрея, после чего раздала бедным свое имущество и, надев мужний мундир, приняла тяжелейший обет юродства.

Проходя мимо храма Андрея Первозванного, что на углу 6-й линии и Большого, морские калеки отдали честь своему бывшему патрону — у кого чем было, а на перекрестке 8-й и 9-й линий с Большим первый утренний регулировщик в новенькой, недавно введенной милицейской форме, похожей на форму царских казаков, не отрывал руки от козырька фуражки, пока мимо него не проковыляла вся траурная колонна.

Оркестр им был не нужен — «ксилофонили» подковами по мостовой катафалковские лошади, неровный глухой ритм отбивали костыли безногих, жужжали подшипниковыми колесами «тачки», а короткие паузы заполнялись перезвоном многочисленных медалей за взятие и освобождение всяческих городов и стран.

Со стороны казалось, что происходит массовый исход калек на край своей островной земли — Смоленское кладбище. Это был последний марш обрубков — победителей прошедшей отечественной и мировой бойни, провожавших в последний путь на одном из последних катафалков города свой знак, свой символ, свой оберег. Порубленная войною островная

братия провожала с Капитаном себя — через год город стали очищать от безродных, неуправляемых и никому не нужных бражников, ссылая их в инвалидные дома в наскоро приспособленных для этого среди наших северных печальных пейзажей монастырях. И через год-полтора в очищенном от инвалидов городе вместо катафалков появились среднего размера, крашенные в серо-голубой цвет, с узенькой черной полоской под окнами специальные похоронные автобусы, которые перестали отвлекать прохожих от их текущих дел и забот.

У Смоленского кладбища инвалидную колонну встретили двое трезвых могильщиков с медальной броней на гимнастерочных грудях и открыли ворота, катафалк въехал на кладбище и почти сразу же был остановлен. Гроб сняли с лафета и понесли в сторону реки Смоленки на руках самые здоровые из здоровых обрубков, у которых на шестерых было восемь рук. На берегу Смоленки, против «Голодайской пустоты», была вырыта могильная яма, и у низких козел стоял выкрашенный свежей серебрянкой деревянный обелиск с красным звездастым навершием.

Провожающая василеостровская братия выстроилась вокруг могилы с трех сторон шеренгами. В первых рядах стояли более калеченные и более короткие, сзади — менее раненные и более высокие. Ближе всех к месту действия были «тачки». Шестеро носильщиков, принесших Капитана, встали за козлами с гробом на фоне реки Смоленки.

Все действия производились при полном молчании выстроившегося вокруг оцепления. Три инвалида, несшие награды, не торопясь сняли ордена и медали с бархатных подушечек и накрепили их на Капитанову артиллерийскую шинель. Затем деловито покрыли крышкою гроб и здоровенными гвоздями прибили ее к нему. После этого шестеро обрубков, принесших гроб, сделали шаг вперед, сняли с гимнастерок звездастые фронтовые ремни, соединив их попарно, просунули под

гроб вместо полотенце и, подняв его с козел, медленно опустили его в могилу.

Обожженный танкист единственной своей «клешней» захватил немалую горсть земли и, сказав «чтоб земля ему была домом», бросил ее на гроб. Это был сигнал. Первая шеренга оцепления — «тачки» — тоже бросила свои горсти, за ней вторая шеренга, третья и так далее. Видать, для всех них дело было знакомое. Пропуская друг друга, они работали, не торопясь закапывая своего Капитана вручную, точнее, тем, что у кого осталось, не прибегая к помощи лопат. Лопатами насыпали и обровняли только холмик-курган над могилою.

Следующим действием была трамбовка: безногие «тачки», покинув «колеса» с помощью двуногих собратьев, забрались на насыпь и отутюжили ее своими кожаными задницами. В ногах, навстречу солнцу, во главе земляной насыпи вкопали обелиск со звездой, и только после этого «усатый вождь»-танкист приказал: «Вольно, братва». На «вольно» утрамбованный «тачками» курган покрыли праздничными первомайскими газетами и из планшеток, противогазных сумок, просто из авосек стали доставать водку, хлеб, соленые огурцы, селедку и другую нехитрую закуску, в минуту превратив Капитанову могилу в поминальный стол.

И началась знаменитая славянская тризна со всеми ее особенностями и поворотами. Тризна была настолько обильной и славной, что по прошествии нескольких дней местный «летописец», старый кладбищенский нищий по прозвищу Гоша Ноги Колесом, рассказывал, что после поминок целых три дня вся корюшка вместе с колюшкой лежала на дне Смоленки и приходила в себя. Только несколько окуней еле шевелили плавниками, и то как-то криво.

А знаменитая китайская курочка Черна унесена была с острова Мытаркой Коломенской за Неву, на Крюков канал, к Ни-

коле Морскому. Говорят, что по престольным праздникам и воскресным дням их вдвоем еще долго можно было видеть перед Николою за нищенской работой, причем Черна каждому подающему цокала по четыре раза, поворачивая свою маленькую головку то направо, то налево, смотря абсолютно прямо вверх на дающего то левым, то правым глазом и никогда не подмигивая.

Василий Петроградский и Торшский

Островной фольклор

*Памяти Дашки Ботанической, Ирки Карповской,
Проши с Малой Невки, Таньки Босоножки,
Лидки Петроградской, Шурки Вечной Каурки,
Аринки Порченой, а с нею и других
парколенинских промокашек
посвящая этот рассказ.*

Вася Петроградский, между прочим, — человечина знаменитая, правда, в среде людишек мелких и пьющих; но столь известных «тачек» — безногих обрубков — в сороковые–пятидесятые годы на петроградских островах не водилось. Даже главный прилارечный стукач-алкоголик Фарфоровое Ухо уважал его и предпочитал лишний раз с ним не связываться. Почему этого стукача так неожиданно именовали — трудно определить. Разве что за уши, которые всегда производили впечатление белоледяных или отмороженных от какого-то постоянного напряжения. Но бог с ним, вернемся к Василию. Вообще-то, непосвященные петроградские жители звали его просто моряком. Он им и был. Только война обрubiла ему мощные ноги по самую сиделку и посадила бывшего матроса Краснознаменного Балтийского флота и бывшего корабельного запевалу в тачку — деревянный короб на шарикоподшипниковых колесах, а в ручищи дала толкашки для уличного передвижения. И с тех пор родная Петроградская сторона стала его палубой.

Передвигался он, жужжа по улицам и переулкам, от дешевого шалмана к пиво-водочному ларю. Ни одна рундучная сходка бухариков, ни один алкашный пир не обходились без него — трубадура, баяниста, запевалы. За целый день он успевал объехать все основные питейные точки Петроградской стороны. А их у нас хватало.

На Гулярной улице, названной так еще в XVIII веке в честь находившегося на ней кабака, где когда-то гуляли наши пращурьы, почти против Дома культуры фабрики «Светоч», стоял популярный у современных питухов ларь, работавший практически круглосуточно и окрещенный народом «Неугасимой свечой». На углу Малого проспекта и Пионерской улицы торчал не менее известный рундук, прозываемый «Родильными радостями» из-за соседства с роддомом имени Шредера. Там вкушали свои первые родительские граммы счастливые отцы. На углу Зверинской улицы и Большого проспекта проходили братчины штурмовавших Кенигсберг и Берлин. Бармалеева улица имела даже два ларя, называвшихся «Бармалеевыми заходами». Дерябкин рынок окружен был целой россыпью питейных точек, поименованных петроградскими бухарями «Усами Щорса» в честь проходящего мимо однофамильного с героем Гражданской войны проспекта. Кроме этих было еще многое множество разных других заведений.

Каждый из них, помимо случайно приходящих клиентов, имел постоянных питухов, обладавших привилегиями. Последние могли нужную пайку водки или кружку пива получить в долг и назвать дающего уменьшительным именем. А Вася-моряк, как местная знаменитость, более других пострадавшая в войне, мог опохмелиться иногда с утра маленькой кружкой пива бесплатно.

В своей шумной тачке, со старым клееным баяном за спиной, в неизменном флотском бушлате, в заломленной бескозырке и с бычком папиросы «Норд», торчащим из-под огромных усов, начинал он поутру свое «плавание» по пьянским местам петроградских островов. Обладая явными хормейстерскими и организационными способностями, он у всех рундуков, куда «приплывал» после третьего захода, командовал: «Полундра! Кто пьет, тот и поет — начинай, братва!» И через некоторое время безголосые, никогда не певшие чмыри-ханырики со сто-

парями водки и кружками пива в узлах рук силлыми, пропи-
тыми голосами пели тогдашние «бронетанковые» песни:

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — наша юность и полет.
С песнями в боях всех побеждая,
Наш народ за Сталиным идет...

А неумный Василий со своей тачки «свирепствовал», дири-
жируя, поправляя сбившихся и покрикивая на нерадивых.

Патронировали над ним невские дешевки со всех островов
Петроградской стороны. Этот вид древнего женского промыс-
ла сейчас исчез из города, а в ту пору он был довольно заметен
в наших речных местах. Многочисленный речной флот брал
дешевки на рейс или на целую навигацию — одну на пять-шесть
палубных мужиков, — официально оформляя их уборщицами
или посудомойками. Кроме зарплаты имели они, как все моря-
ки, обмундирование и хорошую добавку за «любовь». Барже-
вые мужики именовали их «тельняшками». Рожденных ими
детей на наших островах звали «Дунькиными детьми». Обзы-
валка эта, по легенде, была связана с Дунькиным переулком,
когда-то существовавшим на нашей стороне, где атаманша Дунь-
ка в былые времена держала артель «речных девушек».

Ближайшими друзьями Васи Петроградского были Лидка
Петроградская и Шурка Вечная Каурка. Они по очереди опекали
его, буксируя тачку пьяного моряка в его «каюту» — летнюю
халупу под лестницей в парадняке старого дома на Ждановской
набережной*, недалеко от начала Большого проспекта. Обсти-

* Интересно, что район, где находилась эта набережная, шедшая по берегу ста-
рой реки Ждановки, также назывался Ждановским, но уже в честь А. А. Жда-
нова — соратника «Великого Кормчего». — *Авт.*

рывали, подкармливали и возили на Геслеровский проспект в знаменитую баню, по лестницам которой стояли шикарно-огромные «тропические» пальмы, безумно нравившиеся моряку, а зимой забирали в свое тепло, на первый этаж побитого войною дома в Татарском переулке.

«Тоской» Васи была Лидка. Ей позволялось сопровождать моряка по кабацким рейдам, помогать ему в певческих подвигах, оберегая от перебора любимого пива с добавками «Тройного» одеколона, и сдерживать бешеный темперамент, проявляемый им в защите правды и справедливости на земле, на воде и на небе. А в кабацких заварухах при его «обидном» языке это было небезопасно, к тому же пользовался он им, невзирая ни на какие звания пьющих, отпузыривая всех подряд. Особенно сильно наезжал он на Фарфоровое Ухо, обвиняя того в сучьем промысле.

Подъехав на тачке к ларю, где алкашный стукач обрабатывал залеток и новообращенных к алкоголю людишек, бил своими деревянными толкашками по диабазу мостовой и, обращаясь к нему, говорил: «Разные у нас с тобой стуки, начальник, — ты стучишь своим пузырем на шее Большому дому, а я деревяшками по мостовой. За мои-то стуки и ста граммов не дадут, а с твоих Сибирь видна да лихо».

«Не приставай, Вася, давай лучше споем. „Любимый город может спать спокойно...“» — запевала Лидка, стараясь отвлечь от беды свою «жалость». «Молчи, Лидка, а то покрою тебя разными российскими словами. Чего мне бояться-то? У меня ничего нет, терять мне нечего. В кармане моем вошь сидит на аркане и шиш шиша шишом гоняет, да все вместе шевелят пустоту. А ежели начальники захотят пересадить меня с тачки на нары, то неудобство доставлю — специальную парашу для меня придется делать. Так-то вот, ваше Беломорканалородие».

Противной старой профуре с Плуталовой улицы, которая приставала к Лидке с вопросом: «Как это вы, горемычные, в

любилки-то друг с другом играете, а?» — говорил он: «Не только как, но и через так, старая скважина! Интересы еще не потеряла, сменив кутак на горло бутылки?»

«А вы, босяки деревяннодолбаные, чего открыли свои хоталки? Пили бы пиво, вытирали бы рыло», — егозил он смеющихся бухариков и, отъехав от «рундука», басом церковного служки запевал вирши:

Слуга — служи,
 Стукач — стучи,
 Шатун — шатайся,
 Алкаш — алкай,
 Бухарь — бухай
 И заправляйся.

Ежегодно в последнее воскресенье июля, в праздничный день Военно-морского флота, отряд расфуфыренных во фланелевки, бушлаты, черные юбки и бескозырки невских дешенок и присоединившихся к ним профурсеток со Съезжинской улицы, а также парколенинских промокашек во главе с Аринкой Порченой собирались возле памятника «Стерегающему», что поставлен во времена «царя Николаши, жены его Саши и матери Маши» морякам, погибшим в войне с самураями в 1904 году, недалеко от Кировского моста, в парке Ленина.

И ровно в два часа пополудни, после минутного молчания в память о погибших во всех войнах моряках, запевал цеховой хор. Стая невских девок маточными голосами гремела «Варяга», да так, что дрожь шла по праздничному люду. А он, наполовину окороченный последней войной корабельный запевала, единственный мужской бас среди женских голосов, одновременно пел, баянил и дирижировал, взмахивая бескозырной головой в центре бабского «букета».

Под одобрение толпы пелись все морские и речные песни — и под конец на бис исполнялась артельная:

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя приводил,
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил.

Только вместо «Кости» пели «Вася». И этой фартовой песней заканчивали праздничное выступление. Вся акция со стороны зрителей казалась специально запланированной и ни у кого не вызывала никаких возражений, даже наоборот, некоторые разгоряченные из толпы присоединяли свои голоса к хору матросских девок, прославляя с ними море, реки и вождей. Да и в голову не могло прийти, что празднично поющие у «Стережущего» во флотской форме — речные проститутки, да еще не имеют на публичное пение никаких квитанций от партийных органов со Скороходовой улицы.

Завершали праздник шумной цеховой складчиной, происходившей в прачечном строении на заднем дворе одного из домов по Ропшинской улице, куда кроме шаровозов приглашено было речфлотовское начальство на уровне боцманов. Украшал и трубадурил в застолье, естественно, Василий Иванович. Угощались на славу, пели до хрипоты, танцевали до срамоты, плясали, бесновались и прочая, и прочая, как полагается, так, что поздно за полночь среди разных невнятных звуков из прачечного дома раздавались кукушкины кукования и козлиные блекотания. Одним словом, веселились «до падежа скота», как определял на следующий день местный дворник Парамоша, несмотря на полученную от цеховой старосты Шурки Вечной Каурки «Московскую» водочку за молчание.

Через малое время после кончины усатого вождя началось массовое изгнание военно-инвалидных калек с наших островов. Их переселяли в специально созданные в бывших монастырях дома инвалидов далеко за пределы Питера.

И явно не без участия Фарфорового Уха одним из первых наш Василий Петроградский был устроен в особый дом инвалидов для полных обрубков в бывшем женском Вознесенском монастыре в Горницах, что на реке Шексне на Вологодчине.

В момент отправки его невским пароходом кроме «сердечной тоски» Лидки и собесовских чиновников на площадь перед речным вокзалом явилась с Петроградской делегация невских дешевок в полной флотской форме с медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу в Великой Отечественной войне» на подтянутых грудях и вручила отутюженному и нафабренному Василию подарок — новый баян, купленный на собранные в артели Шуркой Вечной Кауркой гроши. На латунной табличке, привинченной маленькими шурупчиками к перламутровой клавишной части баяна, было выгравировано памятное посвящение: «Гвардии матросу Краснознаменного Балтийского флота Василию Ивановичу от любящих его петроградских девушек на долгую память. Май 1954 года». Кроме баяна вручены были морскому герою привезенные на двадцать пятом трамвае с далекой Петроградской стороны на проспект Обуховской обороны, бывший когда-то, между прочим, Шлиссельбургской дорожкой, три большие коробки любимого им «Тройного» одеколona.

Перед самым отплытием под руководством и при участии Василия Петроградского и его нового баяна был исполнен весь основной репертуар хора речфлотовских девушек. Последней песней, спетой с особым настроением и слезами на глазах в конце, была:

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны...

Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в Горлицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наоборот, окончательно проявился. В бывший женский монастырь со всего Северо-Запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, лишённые абсолютно рук и ног, называемые в народе «самоварами». Так вот, он со своей певческой страстью и способностями из этих остатков людей создал хор — хор «самоваров» — и в этом обрел свой смысл жизни.

Начальница «монастыря» и все ее главные врачи-санитары с энтузиазмом приветствовали инициативу Василия Ивановича, а на его одеколонное выпивание смотрели сквозь пальцы. Сестры-санитарки во главе с врачихой по нервам вообще боготворили его и считали спасителем от страстных посягательств несчастных молодых мужских туловищ на их собственные персоны.

Летом дважды в день здоровые вологодские бабы выносили на зелено-бурых одеялах своих подопечных на «прогулку» за стены монастыря, раскладывая их среди заросшей травой и кустами грудине круто спускавшегося к Шексне берега. И на этой травной грудине можно было слышать, как происходят приставания.

Одетый в желтые трусы, розово-крепкий, курносый торс-«самовар», монастырскими людьми ласково именуемый Пузырьком и ставший запевалой в новом Васином хоре, целуя сильную руку несущей его девки, стонал, объясняясь: «Нюш, а Нюш, я по тебе извергаюсь. Помоги жить, наколись о меня, милая, вишь, торчит, шиш проклятый, жить не дает. Я ведь свой, деревенский, Нюш, а Нюш... Твой ведь не придет, что ему после

армии в Горицах делать, Нюш...» — «Да не кусайся ты, больно ведь, Пузырек, не ровен час — уроню. Сейчас ты попоешь с Васею и успокоишься».

Раскладывали их на вздыбленной палубе угорья по голосам. Самым верхним клали запевалу — Пузырька, затем — высокие голоса, ниже — баритоны, а ближе к реке — басы. На утренних «гуляниях» происходили репетиции, и между лежащими торсами, в тельнике, на кожаной «жопе» скакал моряк, уча и наставляя каждого и не давая никому покоя: «Слева по борту — прибавь обороты, корма — не торопись, рулевой (Пузырек) — правильно взял!»

Вечером, когда у пристани внизу пришвартовывались и отчаливали московские, череповецкие, питерские и другие трехпалубные пароходы с пассажирами на борту, «самовары» под руководством Василия Петроградского давали концерт. После громогласно-сиплого «Полундра! Начинай, братва!» над вологодскими угорьями, над стенами старого монастыря, возвышавшегося на крутизне, над пристанью с пароходами внизу раздавался звонкий голос Пузыря, а за ним страстно-охочими голосами мощный мужской хор подхватывал и вел вверх по течению реки Шексны морскую песню:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали...
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от этой земли...

А хорошо прикинутые, сытые «трехпалубные» пассажиры замирали от неожиданности и испуга от силы и охочести звука. Они вставали на цыпочки и взбирались на верхние палубы своих пароходов, старясь увидеть, кто же производит это звуковое чудо.

Василий Петроградский и Горичский

Но за высокой вологодской травой и прибрежными кустами не видно обрубков человеческих тел, поющих с земли. Иногда только над верхушками кустов мелькнет кисть руки нашего земляка, создавшего единственный на земном шаре хор живых торсов. Мелькнет и исчезнет, растворившись в листве.

Очень скоро молва о чудесном монастырском хоре «самоваров» из Горич, что на Шексне, облетела всю Мариинскую систему, и Василию к питерскому титулу прибавили новый, местный. Теперь он стал зваться Василием Петроградским и Горичским.

А из Питера в Горичы каждый год на 9 мая и 7 ноября присылались коробки с самым лучшим «Тройным» одеколоном, пока майской весной 1957 года не вернулись они назад, на Татарский переулочок, что на Петроградской стороне, «за отсутствием адресата».

Жизнь Ботаническая

Началась эта артельная история в великое коммунальное время, сразу после Отечественной, на Петроградской стороне.

Островной город, залечивая раны войны, медленно поднимался на ноги. На улицах и во дворах нашей стороны появилось шалапутное пацанье, игравшее на пустырях и развалинах домов не в немцев и русских (никто не хотел быть немцем), а в древних казаков и разбойников.

По субботним дням в восстановленных Пушкарских и Геслеровских коммунальных банях выстраивались длинные очереди мрачноватых потертых людей, одетых в знаменитые ватники, с авоськами, заполненными семейным бельишком, мочалками из лыка и темными кусками хозяйственного мыла.

Открылись рынки, по-тогдашнему базары, похожие скорее на толкучки, где продавалось все — даже то, что вообще не должно продаваться.

По праздникам стали устраиваться ярмарки, на которых среди обычной торговли ставили ярко раскрашенные карусели. Строили круглые аттракционные балаганы с мчавшимися по тесаным вертикальным стенам мотоциклами. Воздвигали высоченные полированные шесты с привязанными к навершию сапогами, предлагая ловким мужикам залезть на них и достать соблазн.

В гуще всей этой толчеи «гадательные люди» с помощью дрессированных петухов, попугаев, обезьян и даже ученых

котов заманивали ярмарочных прохожих вытащить за малую мзду обещанное счастье из коробочки с записками.

У стен базарного забора кич-маляры торговали клеенчатой райской живописью. Множество победившего народа толпилось у панельного «Эрмитажа» и пялило глядели на земной рай при восходах-заходах солнца — с пряничными домиками на райском берегу пруда, по которому плавали бело-голубые длинношее лебеди. После военных и блокадных бед островной люд покупал копеечную мечту о сытой, красивой жизни, написанную масляными красками на черных клеенках.

На углу Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы открылся вдруг коммерческий гастроном. Сразу после открытия его заполнила толпа народа с желанием посмотреть на диковинные продукты, которые там продавали. Никто ничего первоначально не покупал — только смотрели. Многие видели эту съедобную невидаль впервые, такого ассортимента в карточных послевоенных магазинах не было ни в жизнь. Цены стояли на все запредельные. У некоторых смотрящих возник испуг: «А вдруг что-то произойдет? А может быть, уже что-то произошло? И кто это все может купить?»

Начинала возрождаться уличная жизнь со всеми ее узорами и чудо-юдами.

У открывшегося после восстановления на углу Большого и Рыбацкой ресторана «Приморский» — бывший ресторан купца Чванова — можно было увидеть еще худоватых и бледноватых, но с профессиональными хотимчиками в глазах симпатичных островных девиц, обзываемых народом «чвановками».

Знающие люди делили девиц нашей стороны на несколько разновидностей, связанных со «стойбищами» или местами жительства, с возрастом или со специализацией, то есть средой обслуживания. Речные девушки (или речные дешевки)

обслуживали речной флот — работа сезонная; чвановок снимали у ресторана «Приморский», кооператовок — у ДК имени Промкооперации; парколенинские шкицы и промокашки, понятное дело, работали в парке Ленина. Были еще ботанические девушки, жившие на Аптекарском острове, где у Петра I был аптекарский огород. Летом самые дешевые девицы угощали собою клиентов в кустах и рощах Петровского острова. Звали их петровскими мочалками.

Основными потребителями наших красавиц в то время были армейские и морские офицеры. Позже к ним присоединились артельщики и, конечно, командированные в Питер граждане.

В ту пору, когда многочисленные инвалиды войны, контуженные, глухие и слепые людишки, объединялись артельным движением, грех было нашим замечательным шкицам и марухам не организовать собственную артель.

Естественно, что официально в райисполкоме или в другом каком-либо «коме» это древнейшее сообщество зарегистрировано не было, но практически существовало, как во все исторические времена. Причем существовало по наработанным столетиями правилам и законам.

Надо отметить еще одну островную особенность — матриархат в нашей петроградской артели марух. Сутенеры, конечно, имелись и исполняли свои функции, но права держали бабы. Очевидно, виновата была война — не хватало настоящих мужиков с характерными особенностями. Всем этим социальным злом на наших четырех островах — Городском, Аптекарском, Петровском и Заячьем, на котором стоит Петропавловка, руководила знаменитая Лидка Петроградская, в прошлом речная дешевка.

Симпатия почти всех островных мужиков и легенда питерского речного флота, хорошего роста сероглазая блондинка с большим, всегда улыбающимся ртом, была вполне добропоря-

дочной жительницей Съезжинской улицы и имела мужа Васю — выпавшего в осадок от алкоголя начальника над ящиками при гастрономе на углу Татарского переулка и Кронверка, то есть проспекта имени Горького.

Улица Съезжинская, на которой обитало еще несколько наших героинь, интересна в островной истории тем, что еще в XVIII веке на ней стоял Съезжий двор — полицейская управа, где секли за провинности местных человек, и еще отмечена небезызвестным героем Ф. М. Достоевского Свидригайловым. Он, придя с Васильевского острова, подле пожарного дома в начале улицы пускает себе пулю в лоб на глазах опешившего провинциала-пожарного, стоявшего на часах, — со словами: «Коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку».

Ближайшими подручными Лидки были Муська Колотая и Шурка Вечная Каурка.

Муська Колотая — красавица, искусно разукрашенная наколками в самых мечтательных местах своего тела, что страшно волновало знатоков-желателей и повышало ее ценность в сравнении с неколотыми поделницами, — владела своим древнейшим ремеслом блистательно и явно гордилась высоким профессиональным уровнем.

Шурка отличалась достоинством и замечательной честностью. Она единственная из товарок имела отдельную малюсенькую квартиру в одно окно в доме на углу Татарского и Мытнинского переулков с отдельным входом прямо со двора. У нее на руках были артельная касса — общак и медпункт (по первому своему занятию Шурка была фельдшерницей).

Происхождением своим Шурка Вечная Каурка была неведомо кто — типичная российская смесь. Явно только одно — кто-то из ее предков вышел из азиатских шатров, стоявших в петровские времена на этих территориях. Кликуху носила бла-

годаря своей «подвижной ерзости», как говорил про нее татарский дворник Адиль со Зверинской улицы.

Родственных людей Шурка потеряла в блокаду и в квартире жила вместе с котом-трудягой Абрамеем, в высокой степени независимым типом и весьма талантливым работником, денно и ночью добывавшим во дворе углового гастронома упитанных мышей для прокормления себя и многочисленных своих возлюбленных.

Сама она обладала особым талантом, или, как говорили охочие мужики, имела свой «манок» — им и притягивала клиентов.

Еще надо отметить самую молодую товарку — Аришку Порченую.

Эта оторва руководила всеми парколенинскими промокашками и слушалась только Лидку, а к Шурке Вечной Каурке прислушивалась.

Отдельно от артели, совсем на другом социальном уровне находилась особа, которую на Съезжинской улице величали Екатериной Душистой.

Натурально блондинистая дама мягких форм и приятной внешности отмаркирована была высшей цеховой категорией. Обслуживала больших военных командировочных начальников и приезжих марксистских «толковников». Принимала на отдельной фатере. Имела при себе прислугу — рыжую девку-хохлушку из Винницы.

Номенклатурных клиентов подвозили к ней на новеньких «Победах» в первый двор дома номер двадцать два по Съезжинской улице и в сопровождении возилы поднимали на квартиру Екатерины Душистой. Дворовые соседи считали ее важной государственной персоной и, когда она проходила мимо них, склоняли в ее сторону головы. Нижестоящие товарки по ремеслу относились к ней также с большим почтением. Только наглая молодуха Аришка называла ее передок «государ-

ственным», «казенным» и не считала, что разнится он чем-то от ее, частного. «А фатеру у Катьки отберут, когда вытряхнут ее до основания, и молодой отдадут». Явно завидовала.

Товарки шептались про нее, что сразу после войны Екатерина некоторое время работала начальственной официанткой в главной берлинской столовке для старших офицеров победившей армии, то есть украшала собою застолье, и не только застолье. Оттуда, из Германии, привезла все свои шмотки и обстановку квартиры, естественно, не без помощи своих столовских клиентов — полковников и генералов.

Душилась Катя только заморскими духами и одеколонами, за что и заработала титул Екатерины Душистой. Наши же никак не признавала, даже знаменитую «Красную Москву» в бутылках в виде Спасской башни преступно обзывала «русским духом».

Роскошная по тем временам ее квартира о трех комнатах, не считая большой кухни, состояла из гостиной, столовой и спальни с выходом в ванную. В спальне под красным балдахинном находилась широкая трофейная кровать орехового дерева, прикрытая ширмой, обшитой тоже красным штофом — «для возбуждения», как думали «немаркированные» девицы. На стенах столовки и гостиной висели трофейные картины с альпийско-райскими пейзажами, украшенными сытыми коровами, дородными пастухами и румяными пастушками. Среди альпийских картин в гостиной висел портрет великой революционерки Коллонтай, проповедовавшей в свое время свободную любовь. Напротив, на другой стене, в такой же раме находилось изображение библейской покровительницы древнего женского ремесла Марии Магдалины.

А еще в среде восторженно завидующих марушек говорили, что тело ее, прежде чем заталить, посыпали лепестками роз.

Да что и говорить, понятно и так, на какой государственной высоте находилась наша особа. Но дело не в том — она помогала жить артели и была главной поощрительницей и меценаткой всех талантливых проститутских детей.

После трагической гибели знаменитой девицы с Аптекарского острова Дашки Ботанической Екатерина вместе со всей артелью принимала большое участие в судьбе ее осиротевшей дочери.

Дашка Ботаническая — одна из самых романтических особ среди петроградских товарок. Любительница танцев и прочих музыкантских затей, поставлена была венедскими чурами на роскошные ноги, а на мир смотрела местными шалыми глазами.

Летом любила принимать в кущах Ботанического сада кавалеров-клиентов из соседнего Электротехнического института-замка, что на Аптекарском проспекте. Сутенером и отцом своей дочери имела башкирского человека — разбойника Ахметова-Разина, который «сел насовсем» за какое-то мокрое дело. Жили они вместе с бабкой Евдохой — Дашкиной теткой, старообрядческой веры беззубой старухой, на территории самого сада в казенном бараке. Бабка работала там дворничихой. Евдоха считала прошедшую войну и блокаду Ленинграда наказанием за народное безбожие, а начальников всякого рода называла антихристами. Племянницу свою Дашку ругала в сердцах «островной доступницей» и «мечтой кобелевой», а ее подружек — «ширинкиными мочалками». Малюсенькая внучатая племянница была у нее «нагулянной принцессой» и «башкирской сиротой», но в своей суровости старуха обожала малышку.

Одним солнечным воскресным днем на глазах у всего честного народа подле только что открывшегося кинотеатра «Эдисон» на углу Большого проспекта и Ропшинской улицы Дашку порезал трамвай по самое тулово. Говорили, что некоторое время лежала она с отрезанными ногами на рельсах, положив

обе руки за голову, и улыбалась смотрящей толпе. Еще говорили, что, выйдя из ресторана Чванова, попала она под колеса по пьяной случайности и собственной шалости. Одним словом, Дашка Ботаническая перестала быть на этом свете.

Похоронив ее как подобает, проститутки Петроградской стороны взяли Дашкину крошку дочь под цеховую опеку и на кормление. Цеховая «банкирша» Шурка Вечная Каурка объявлена была ее теткой-опекушкой. Островная артель из своего общака отвалила на содержание «дочери полка» приличную по тем временам сумму грошей, на которую она росла, хорошела, радуя всех девиц. Раз в год, на Святки, от марух и шкиц центральных районов города привозили подарки Ботанической сироте. Обычно доставляла коробки с подарками огромных размеров баба с добрыми ямочками на щеках и грубой кликухой Запиндя Вокзальная.

С трех лет Гюля стала благодарить всех дарящих танцами под соседский патефон — больше она ничем отработать любовь к себе не могла. Откуда девчонка всему этому научилась, никто понять не мог, разве что пошла талантами в мать. С каждым Святками танцевальные благодарения усложнялись, и на шестом году ее жизни на сходке артель решила учить Гюлю музыке и танцам. Через год оказалось, что башкирская принцесса на радость всем своим попечительницам — лучшая плясунья Дома культуры Промкооперации, что на Кировском проспекте. Так и появилась мечта у наших островных красавиц — отдать девчонку в Вагановское училище.

Пришло время, и по постановлению сходки четыре товарки во главе с Шуркой Вечной Кауркой под видом родных теток, наряженные в свои лучшие платья и юбки, повезли любимицу на показ-экзамен в знаменитое (бывшее когда-то императорским) балетное училище на прекрасной улице Зодчего Росси, что на центральном, Спасском острове. И пока шел экзамен по

танцевальной годности, на ступеньках школы стояли четыре расписные красавицы с петроградских островов, обращая на себя внимание добропорядочных прохожих этого района экзотичностью собственного вида и профессиональной призывностью блуждающих глаз.

Свершилось чудо — Ботаническую сироту приняли в Вагановку. На вывешенном листе с именами зачисленных счастливиц против фамилии Ахметова запечатлелись следы красной помады. На петроградских островах радости не было конца. Екатерина Душистая, узнав о событии, устроила обед-прием с шампанским из коммерческого гастронома в честь поступления цеховой сироты.

Переходы Гюли из класса в класс отмечались торжественным сладким столом у Лидки Петроградской или у самой поощрительницы Екатерины на Съезжинской улице. Полученные отметки становились известны всей островной артели девушек и на следующий день обсуждались на сходках как важнейшие семейные события. Для безопасности существования подрастающей драгоценности в среде садовых работников найден был безмудрый мужик — Гермафродит Ботанический, который отвозил и встречал принцессу петроградских островов на Зодчего Росси. Официально перед людьми он был назван родственным дядею Гюли.

Шли годы, девчонка поднималась от ступени к ступени, осваивая труднейшее «лошадиное ремесло». Наступил последний дипломный год. Объявленный экзамен-спектакль состоял из трех частей, одной из них был акт из балета Адана «Жизель». Партию Жизели танцевала в этот день наша артельная сирота Гюля Ахметова. Цех стал жить подготовкой и ожиданием будущих подвигов героини.

В этот последний напряженный год учения Шурка, взявшая ее из ботанического барака в свой татарско-мытнинский «шатар», готовила жратву по специальному меню. С Сытного рын-

ка товарки по очереди каждую неделю приносили самые свежие фрукты.

И наконец петроградское сообщество проституток скупило почти все билеты второго яруса Кировского театра на выпускной балет Вагановского училища.

Накануне спектакля островные девочки не спали всю ночь: стирали, чистили, подшивали, гладили, стриглись, мылись и так далее. Утром тетка Шура вместе с Аришкой Порченой на таксистской машине усатого дружка Аришки ровно в девять доставили Гюлю к двенадцатому, служебному подъезду Кировского театра — на разминку.

Ровно в десять ноль-ноль, за час до начала спектакля, на Театральной площади высадился десант поставленных на высокие каблуки петроградских девиц с огромными букетами цветов в руках. Они первыми вошли в вестибюль знаменитого театра и первыми с гордостью вручили свои кровные билеты важным билетерам. Те с некоторым испугом и удивлением разглядывали неожиданных театралок, ранее никогда не виданных в этом храме советского музыкального искусства. Ни один театр мира не принимал такое количество жриц любви, как доблестный Кировский в этот славный день. Второй ярус был практически оккупирован ими. Только одна Екатерина Душистая в трофейном синебархатном платье с русской лисой на шее сидела в двенадцатом ряду партера.

Никогда подлинные любители Мариинки не слышали таких фраз и реплик и таких неожиданных комментариев. Как только девицы оказались в креслах своего второго яруса, Аришка, впервые попавшая в подобное место, в отличие от других, присмиривших «театралок», ничуть не смутилась. Посмотрев вниз на зал, сказала вдруг громко: «Глядите, девки, сколько сразу подмытых-то кукол в сбруях шелковых сидит! Шуршат, чистоплюечки. Во, Лидка, глянь, клиенты-то какие — все в удушках, как в

кино. А вон мой идет, — показала Аришка пальцем на усатого морского капитана. — Во я с кем злоупотребилась бы шумно! А это что за лярва нафталиновая с ним рядом? Во глупый какой, подобрал себе бабу без дна и без покрышки!» — «О Магдалина святая! Ну что ты, Аришка, zenки свои на всех напяливаешь да целовалы растягиваешь? Клиентов много кругом? Не трать механизмы! Не кобели мужиков — в театр ведь мы пришли, а не в ресторанцию. Да и потише ты! Звук уменьши. Не то выгонят нас из-за тебя к чертовой матери!» — приструнила ее Лидка Петроградская.

В антракте в курилке Муська Колотая по забывчивости хвасталась Анна-Нюркам, двум подружкам-тезкам: «Вы знаете, на что я цветы купила? Вчера у Чванова двух командировочных дуриков выставила — взяла в долг сотню и смылась под сортирным предлогом. Хотели поразвлечься, залетки безмозглые!» Ее остановила Шурка: «Муська, где хвастаешься? Тут не место для подлых разговоров».

Во второй части танцевала Гюля. Девки вдавились в кресла и, затаив дыхание, смотрели на сцену — их создание танцевало Жизель. Одна из Нюрок в сцене сумасшествия не выдержала — заревела, и ее вывели в коридор. Аришка хотела что-то крикнуть — ей зажали рот. А в конце они все вскочили на кресла и заорали: «Бра-ва! Бра-ва! Молодец, Гюля! Бра-ва!» Ни одной Жизели за всю историю этого балета не аплодировали так яростно и долго зрители второго яруса, как на том выпускном спектакле. Анна-Нюрки, Аришка, Муська Колотая и другие девки с многочисленными букетами бросились вниз в зал и, растолкав стоявшую почтенную публику, засыпали сцену цветами.

Это был для всех островных шалав Питера самый главный праздник их жизней. Это была их победа.

Из театра вышли все зареванные, заволнованные, покрасневшие от участия в танцах с Жизелью. На Петроградскую

возвращались машинами. В первом такси Жизель, заваленная букетами, сидела между двумя зваными тетками — Шуркой и Лидкой. Впереди с водилой соседствовала довольная Екатерина Душистая. Ехали к ней на банкет.

Праздничный стол в столовой, накрытый крахмальной скатертью, был сервирован, как в ресторане Чванова. Подельницы, глядя на такую роскошь, даже несколько скисли и прихудели от щедрости благотворительницы. Жизель усадили во главе стола, по правую руку от Екатерины.

В двустворчатую дверь рыжая хохлушка внесла поднос с шампанским в номенклатурных бокалах. Первый тост — за победу — выпили стоя и хором крикнули «Ура!». Телохранитель Гермафродит Ботанический, одетый в чистое, сидел за отдельным столиком и чмокал бабскими губами праздничную еду, ласково поглядывая на свою героиню.

Охмелившись сильно шампанским, в конце торжества на радостях спели хором любимую хозяйкой «Катюшу»:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша —
На высокий на берег крутой.

Всем было хорошо. Даже Аришка Порченая призналась в любви Екатерине Душистой и расцеловала ее.

На следующий день после премьеры от возбуждения и радости две неразлучные шалавы с восторгом написали мелом на дощатом заборе по улице Съезжинской, у дома № 34: «Всем привет от нас. Ура! Анна-Нюрка».

Через день в «Ленинградской правде» была напечатана рецензия на выпускной спектакль училища. Сильно ученая дама писала: «Совершенное соло молоденькой выпускницы

Гюли Ахметовой было удовольствием для глаз. В первой части она была нежна и изысканна». Далее отмечались «хрупкость и боль» в сцене сумасшествия. «Слово-то какое — „изысканна“! А? Песня, я вам скажу!» — воскликнула со слезами Шурка Вечная Каурка, восхищенно глядя на цеховую принцессу.

Гюля Ахметова получила диплом с отличием и была сразу приглашена солисткой в Уфимский театр оперы и балета. После положенного отдыха в конце августа проститутский цех собрал ей приданое и велел Шурке в качестве родной тетки сопровождать Жизель.

О проводах говорить не будем. Как выразилась, выставив указательный палец в потолок, Лидкина соседка по коммуналке Черна Михайловна: «Это было что-то». Шурка Вечная Каурка выполнила все наказы островных девушек — сдала принцессу уфимскому театральному начальству с просьбой хранить и беречь питерскую башкирку.

Попутно она ознакомила с собою пожарного начальника театра до такой степени, что тот через малое время приехал за нею в Питер и забрал ее с собой с Татарского переулка на свою уфимскую улицу имени башкирского героя-разбойника Салавата Юлаева. Таким образом, Шурка снова соединилась местом жительства с названной племянницей и цеховой воспитанницей.

А кот Абрамей не принял башкирского гражданства и переезда с Татарского переулка на улицу Салавата Юлаева и бежал из Уфы в северо-западном направлении.

Ангелова кукла

Наше дело малолетнее: нам дают — и мы даем.

Крошка Ухалка, парколенинская промокашка

Эти малозначимые события происходили на наших петроградских островах в первые послевоенные годы. Порожденный войной и разрухой молох жизни выбросил на панель города женский товар, в том числе и несовершеннолетний.

Осень, зиму и весну паслись они в обширнейшем парке имени Ленина — на главном, Городском острове Петроградской стороны, — предлагая себя любителям малолеток иногда просто «за поесть». А с наступлением лета обслуживали желателей в ту пору еще дикого центрального пляжа, что у стен Петропавловской крепости, принимая клиентов прямо на крышах крепостных рavelинов.

Крашенные малолетние девушки у местных туземных людшек обзывались промокашками и обитали рядом с парком на знаменитых гулярных, съезжинских, зверинских, татарских, мытнинских улицах и переулках. Интересно, что места эти уже с конца прошлого века известны были своим рынком дешевых проституток.

Парк Ленина, в прошлом Александровский сад, устроенный по повелению царя-бати Николая I для народных гульбищ, поделен был на две части — «старшекласную» и «младшекласную». Старшие профурсетки торговали клиентов у Народного дома, Театра имени Ленинского комсомола и далее в сторону Кировского проспекта. Младшие работали в районе зоопар-

ка, популярнейшего у послевоенного копеечного народа заведения, и по правой от него стороне к Кронверкскому деревянному мосту, а за ним и на крепостном пляже.

Да, еще одна особенность этого знаменитого сада-гульбища, о которой необходимо было помнить тогдашним добропорядочным и порядочным любителям природы: парк, несмотря на свое высокое ленинское наименование, в часы вечерней мглы становился очень опасным для жизни местом из-за нападений антисоциальных хулиганствующих типов. Время было голодное.

В зимнюю пору главным лежбищем артели промокашек становилась старая, давно не использовавшаяся по назначению прачечная в проходном дворе доходного дома на славной Гулярной улице. Хозяйничали в «стиральных закутах» две Аньки — тезки-подружки, жившие там совместно с родственной кому-то из них старухой, вдовой погибшего в блокаду дворника. Подружек за парные хождения, неразлучность и неделимость во всяческих жизненных проявлениях звали через черточку — Анна-Нюрка. Поврозь они не работали, то есть могли быть с клиентами в разных закутах, но обязательно по соседству. Про остальное и говорить нечего: ходили, стирали, мылись, ели, думали — все вместе.

Паханила над всей артелью, то есть держала права в ней, самая старшая из них, пятнадцатилетняя разбитная девка — Аришка Порченая. Приставку к своему имени она получила после пребывания в трудовой исправительной колонии под городом Псковом. Отсидев в ней два года, стала грамотной — чесала по фене так, что все блатные с четырех островов Петроградской стороны гудели про нее уважительно: «у-у-у-у».

Аришка Порченая предпочитала солидного, возрастного клиента молодому да гладкому. И непременно с торчащими усами, как на портретах вождей и маршалов.

Жила Аришка в двухэтажном доме по Мытнинскому переулку. Жила совместно со своим «историческим» дедом по кличке Чекушка, в бывшем служебном помещении с отдельным входом из подворотни. Обиталовка их состояла из маленькой комнаты в одно окно и крошечного коридора-кухни с отгороженным сортиром.

Дед Чекушка был назван так в честь всегда популярной в народе-богатыре двухсотпятидесятиграммовой бутылки водки — за малый рост, сухость в теле и постоянную необходимость в «родненькой».

Несмотря на такие неказистые данные, он слыл заслуженным перед Отечеством типом. В революционные троцкистско-воровские времена его, криминального узника Литовского замка, опоясали пулеметными лентами и объявили революционером. Затем превратили в продотрядовца, а после перевели в милицию, из которой уволили перед Великой Отечественной войной на инвалидность, полученную от тяжелой алкогольной болезни. Поэтому внучка Аришка своего деда-инвалида на время работы с клиентами запросто вырубала стопарем «Ленинградской» водки.

В островной округе приклатненное хулиганствующее пацанье панически уважало Аришку. Трое амбалов-шмаровозов, петроградски — прихахуев, опекавших артель, целиком подчинялись ей, боясь, что в любой момент она их опустит до валетов. Естественно, все промокашки смотрели ей в рот беспрекословно. И только в отсутствие Аришки парколенинские бездельные малые огольцы позволяли себе, окружив стаю девчонок, обидно дразниться:

Галка-давалка, где твоя чесалка,
Анька-лохматка, Нюрка-мохнатка,
Где ваша кроватька,

Катька-мочалка, Люська-покрывалка,
Зыза-косолопка, Пашка-кувыркашка,
Зверинская букашка.

И, разделившись, разными голосами:

А ты кто такая?
— Маминдя Гулярная.

И снова:

А ты кто такая?
— Перманда татарская,
Хотила, чесала, давала, колыхала...

Появлялась Аришка Порченая, и вся шобла огольцов смы-
валась мгновенно. Хозяйка же набрасывалась на девок: «Вы
что, шкицы долбаные, молчите в тряпочку, не можете утереть
обтруханных самолетов? Эх вы, кошки драные. А куда стер-
лись твердомудые поцы? Снова дуют пиво на Зверинской? Я
им, падлам, муды отстегну», — свирепела она на артельных
прихахуев.

Самой младшей среди товарок, самой свежей в стае была
Пашка Ничейная со Зверинской улицы. Папаня ее погиб в зим-
нюю финскую войну, маманя умерла в «безумном доме» со-
всем недавно от воспаления легких. Родственников людей у нее
не было, и осталась она ничейной малолеткой в коммуналке с
алкашными соседями. Они-то вместо детдома сдали сироту за
водку в артель Аришки Порченой на воспитание. И стала она
там учиться древнему ремеслу. Совпало все это с весной и
белыми ночами, пришедшими на невские воды и берега. И
одним таким белым днем стал за нею, за Пашею-беляшею с

голубыми глазами, льняными волосами, ухаживать молодой морской мичман, командированный в Питер из Кенигсберга, в красивой черной морской форме, в фуражке с кокардой и кожаным трофейным портфелем в руках.

Паша поначалу припугнулась ласкового матросика, но товарищи набросились на нее с советами: «Не будь дуркой, иди с ним, вишь, как мурлычет да ластится к тебе полосатик смазливый. Может так случиться, что полюбит да увезет тебя с собою в свою хлебную сказку на немецкое море. Бывало ведь такое».

И повязали малолетку с командированным красивым мичманом, да так, что расцвела она в своей детской надежде и любви. Ходила за ним веселой козочкой с распахнутыми от восторга глазами. Ждала его нового приезда с немчинского моря, задыхаясь от мечты и нетерпения, отказываясь с кем-либо иметь дело.

Наконец приехал он снова из своего кенигсбергского далека. Приехал с подарком, большой коробкой, в которой находилась невидаль заморская — немецкая говорящая кукла Пашиной льняной масти, с голубыми глазами, окаймленными длинными пушистыми ресницами. Роскошно одетая в белое, обшитое кружевами невестино платье с фатой и в белые атласные туфельки с серебряными пряжками. Но главное, она закрывала и открывала глаза при наклоне и говорила: «Мама». Паша от красоты, неожиданного счастья, с перепугу, от неверия в происходящее обалдела и стала заикаться. Всю неделю мичманского гостевания она привыкала к ней, боясь тронуть это высокое создание.

Перед очередным отъездом в голубые кенигсбергские дали матросик побожился в следующий приезд забрать Пашу вместе с куклой в свой рай и, отъехав, канул как в воду.

Узнав о шикарном подарке, парколенинские подружки потребовали показа куклы-невесты всей сходке промокашек.

Паше ничего не оставалось делать — пришлось подчиниться. Старательно завернув любимую драгоценность в памятную матушкину шаль и взяв ее на руки, как взаправдашнего ребенка, она отправилась с ней на сходку.

Шабло было назначено у стен Петропавловки, сразу за Кронверкским деревянным мостом, с которого пацанье в ту пору все лето ловило рыбу и ныряло в Заячью протоку, где по берегам в солнечные выходные дни загорали близживущие петроградские граждане.

На смотрины пришла вся артель малолетних товарок, только бандерша Аришка запаздывала из-за бузы, устроенной пьянским дедом Чекушкой. Возбужденные любопытством и нетерпением девки не стали ее ждать. Окружив Пашу со всех сторон, велели ей развернуть шаль и показать матрогонскую цацу. Паша медленно и бережно распеленала шаль со спящей куклой-невестой и, подняв на руках, разбудила ее. Кукла вдруг открыла свои немецкие голубые глаза и, глядя ими на наших послевоенных петроградских промокашек, внятно произнесла: «Мама».

Толпа девок, замолкнув на мгновение, ошалела. Под стенами Петропавловской крепости раздался визг восторга. Они вдруг увидели свою мечту, то, что им и не снилась. Всем захотелось взять куклу на руки и убедиться в реальности существования этой невидали, в ее способностях закрывать и открывать глаза, в ее умении говорить. Мечта-кукла пошла гулять по рукам малолетних проституток. Каждая из них впервые в жизни держала в своих руках такое сокровище и с трудом отрывала ее от своей груди, передавая невесту товарке. Глаза девчонок сверкали, завидки росли, руки дрожали. После того как Малютка Корявая, последняя держательница куклы, передала ее хозяйке, Крошка Ухалка, наглая коротконогая девчонка, срывающимся голосом предложила Паше обмен:

— Паша, давай махнемся — ты мне отдашь куклу, а я тебе трусики кружевные рижские и чулки трофейные фильдекосовые со стрелкой. А?

— Не, она моя любимая, меняться не буду.

— Ну, пожалуйста, давай — серьги добавлю. Во, смотри какие, а?

— Не, не буду...

Заинтересованная в обмене подружка Ухалки Малютка Корявая встряла в разговор:

— Меняйся, Пашка, смотри, серьги-то у нее какие шикарные...

— Не могу...

— Дура ты гладкоствольная, и больше никто.

— Почему гладкоствольная?

— Почему, почему, да по нарезам, поняла, Пашка Зверинская?!

— Сама ты Шишка Гулярная, че пристаешь?

— А ты лярва матрогонская!

— Че обзываешься, мечта мусорская, че я тебе сделала?

— Молчала бы, подстилка полосатая, гадина малявная, сейчас паяльник твой начищу, так хрюкать станешь!

— Ругайся как знаешь, все равно не дам.

— Не дашь, так вот тебе, малявка вонючая! — И, вцепившись в ее льняные волосы, Малютка истошным голосом заорала: — Пашка, козявка, паскуда хвостатая, отдай куклу! Вот тебе, вот... — И стала бить ее сильно в живот. Пашка ослабла, опустилась на колени, кукла выпала из ее рук на землю, закрыв глаза, произнесла «мама».

Из-за их спин мгновенно вынырнули две Анна-Нюрки, быстро подняли запачканную грязью куклу-невесту с земли и только хотели смыться, как на них напали все остальные промокашки — Зызка, Машка, Галка, Люська, Катька, и началась вселен-

ская свалка с руганью, визгами, ревом. Кончилось бы все очень плачевно, не появившись вовремя Аришка.

Увидев с моста дерущуюся кучу девок, она по дороге выхватила у ловившего рыбу пацана самопальную удочку и бросилась с нею на своих подопечных. Сломав о спины промокашек древко удочки, она поставила всех на ноги и зычным голосом протрубила: «Вы что, суки марушные, бузите, сгореть хотите? А? Заберут ведь всю шоблу фараоны, сечьмовать будете, курвы малолетние. Вишь где, скважины дешевые, свару устроили. А ну, мотайте работать!»

Заметив валявшуюся на земле испачканную куклу, добавила: «Дуры вы битые, не жаль вам товар-то такой хороший портить, лупили бы друг дружку, а ее за что марать? А ты, Пашка, зачем реवेशь? А ну, протри буркалы, где твой матросик? Что не защищает? Бери свою немку и драпай домой, чистить ее надо, да и морду себе вычисти заодно, вишь, как уходили, халявы паскудные. Я ж тебя учила, как биться за себя — локтем в грудь, да костяшками в висок, да ими же по глазам, — так сразу отвиснут. Ну, пошли, Пашка, на твою Зверинскую хазу».

Время шло, жизнь продолжалась, а кенигсбергский мичман так и не появился в Питере со своими обещаниями перед Пашей, а она ждала его, ждала терпеливо, опухая от слез и переживаний в надежде, что увезет он ее невестой и будет катать по своему морю на катере, как обещал.

Некоторые товарки жалели ее, но что делать. Видать, амурик полосатый поматросил и бросил. Деться было некуда, шамать стало не на что, и Паша Ничейная снова пошла по рукам. Закончилась для нее весна жизни.

К концу лета случилась трагедия — выяснилось, что больна она дурной болезнью. Причем узнала Паша о ней спустя два месяца после блаженств со своим матрогоном. Узнала от двух клиентов, которых заразила, того не ведая. Подловили они ее

в парке Ленина и побили прилюдно. Никто из парколенинского народа, поняв, в чем дело, не заступился за малолетку.

От такой страшной неожиданности стала Паша лицом чернеть да телом чахнуть, и жизнь ее превратилась, выражаясь Аришкиным языком, в полную муйню. После долгих больничных мытарств да доставшихся ей от людей унижений и позора некрепкая головка девчонки стала постепенно сдвигаться.

Поздней осенью в Анна-Нюркиной прачечной по Гулярной улице произошла сходка малолетних парколенинских марушек, где было постановлено сочувствующим горю большинством предать немецкую куклу огню у стен Петропавловки, на берегу Большой Невы, против Дворцовой набережной, — на месте первой Пашиной повязки с амурным матросиком.

В день первого снега стая суровых, закутанных в темные шмотки девчонок собралась у мрачных гранитных стен Петропавловской крепости на хорошо знакомом пляже, в ту пору года пустом и безмолвном. Паша с замотанной в шаль куклой почти силком была приведена на пляж и находилась под патронажем двух подружек-тезок Анна-Нюрок.

Из сухого неевского топляка и тополиных сучьев почти у самой стены крепости Аришка по всем законам кострового искусства, приобретенного ею в колонии, сложила четырехугольную колоду, спокойно взяла из рук онемевшей Пашки жертву-куклу и, освободив ее от шали, поставила внутрь кострища. Не спеша уложила вокруг «невесты» сухую траву и смятую «Комсомольскую правду» для запала и, прежде чем поджечь ритуальное сооружение, толкнула речугу перед вздрогнувшими промокашками: «Девки, мы пришли сюда исполнить постановление сходки — сжечь немецкую шлюху, принесшую горе нашей товарке, и пожелать гореть всю жизнь ее дарителю — кенигсбергскому матросу-венику так же хорошо, как сгорит сейчас перед нами эта сука. Смерть фашистской нечисти! Ура!»

И, чиркнув зажигалкой, сделанной из гильзы пулеметного патрона, подожгла запал. «Ура! Ура!» — подхватила стая промокашек, окружившая кольцом кострище.

Пашка все время паханкиной речуги стояла парализованная и мутными глазами смотрела на торчащее по плечи из топяковой колоды свое синеокое сокровище. Промокашки с торжественными лицами окаменевших судей глазели на разгоравшееся пламя. И вдруг, когда огонь охватил фату и свадебное платье куклы, Пашка с перекошенным лицом и диким криком, отбросив в стороны Анна-Нюрок, метнулась в костер, мгновенно выхватила горящую немку-куклу и, с невероятной силой сбив Зызу с ног, бросилась бежать в сторону Кронверкского моста. Неожиданность и непонятность происходящего парализовала обалделое судилище. А когда промокашки оправились от случившегося, Паши и куклы след простыл.

Вскоре после этого события Пашка Ничейная, или Пашка-малолетка со Зверинской улицы, исчезла с наших петроградских островов. Ни Аришка, ни товарки, ни алкашные соседи по коммуналке — никто не мог сказать, куда она провалилась вместе с куклой. Даже всезнающий хромой татарский дворник Адиль со Зверинской улицы, именуемый в народе Аэроплан за увлечение воздухоплаванием, качая головой, говорил: «Последним временем она мутнеть лицом стала, видать, шайтан в нее вошел и увел с собой за воду».

К весне из-за Невы от шкиц с Адмиралтейского и Казанского островов, а также от шалав с Коломенского острова стали доходить слухи, что в их районах обитания по разным улицам, каналам и дворам бродит совершенно белая волосом, малюсенькая, сдвинутая головой девчонка в матросском тельнике, надетом на потертый свитер, в старой матросской бескозырке, с обгоревшей куклой на руках, завернутой в довоенную пуховую шаль.

Ангелова кукла

Всех встречных и поперечных людишек, божась Николой святым, уверяет, будто Ангел—Золотое крыло, слетевший с купола Николы Морского, что на Крюковом канале, явился к ней и сказал: «Это дочь твоя, а не кукла».

Бродяжка показывает всем гражданам-прохожим обожженную куклу и просит вылечить от ожогов ее дочь любимую. Но ни прохожие, ни врачи — никто помочь ей не может.

В тамошнем народе называют ее Пашей Чокнутой или Пашей Дуркой, а обожженную куклу — Ангеловой куклой.

P.S. Дурку Пашу вместе с куклой на Крюковом канале против Николы Морского мокрым осенним днем выловили и забрали в крытую машину дяди-санитары. Вскоре отправили их с питерских островов в «Страну дураков», по местному определению, которая находится в Окуловском районе Новгородской области и размещается в бывших трех дворянских усадьбах на огромной Вороньей горе, что возвышается над деревнею Лука. Отправили жить и лечиться организованно.

Там она со своей Ангеловой куклой произвела огромное впечатление на местный народ и превратилась в почитаемую личность среди дураков и дурок всего Северо-Запада России.

Мытарка Коломенская

Из опущенной жизни

Не согрешив – не отмолишься.

Пословица

«Ты Сам один бессмертен, Сотворивший и Создавший человека, а мы, земные, из земли созданы и в ту же землю опять пойдём. Ты так повелел, Создатель мой, когда сказал: „Земля ты и в землю отойдешь“. И вот все мы в нее пойдём, надгробным рыданием творя песнь: Аллилуиа».

Этими знаменательными словами всеобщего псалма над почившим закончила Царь Иванна работу самозванных монашек. «Мытарка, — обратилась она к начальственной товарке, — дай глоток церковного. Спасу нет, сухота заела». И, отхлебнув хорошую дозу кагора из фляжки Мытарки, она снова своим хриплым баском возгласила: «Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему Василию и сотвори ему вечную память!»

Часть родственников усопшего, непривычная к ночным бдениям, давно обмякла и спала прямо на стульях. Младшая из трех позванных отпевалок погасила три свечи из четырех, оставив последнюю на вынос тела. «Буди сродственников, Мавка, пускай прощаются с новопреставленным Василием. На дворе катафалк стоит, — велела старшая Мытарка своей помоганке. — Да иконку поправь. А ты, начальник, целуй венчик на челе отца своего и целуй образ Спасителя да испроси прощение у лежащего во гробе за все неправды, допущенные к нему при жиз-

ни», — учила Мытарка сына умершего старика Василия, складского заведующего в порту.

После прощания велела наживить гвоздями крышку гроба, развернуть его к выходу и выносить усопшего из комнаты. Царь Иванна все последние действия сопровождала чтением Трисвятого: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас».

Вышеописанные события происходили в самом начале пятидесятых годов в одном из домов на Пряжке, то есть на набережной реки Пряжки, отделяющей с запада Коломенский остров от Матисова. Здешние места со старинных времен известны были простому люду не оперными театрами и консерваториями, а выстроенным во времена императриц Морским Богоявленским собором, окрещенным питерскими богомольцами Николой Морским.

Никола в советские безбожные времена стал для православных жильцов центра города (после закрытия и уничтожения многих храмов на Адмиралтейском и Казанском островах) главным местом моления верующих. И из ведомственного морского собора времен царей превратился в истинно народный храм.

И что еще сохранила Коломна, несмотря на возникшие в XIX веке замечательные архитектурные ансамбли, — это обаяние провинциальности, спокойствия и несуетности жизни.

В дни больших церковных праздников вся Никольская площадь вместе с садом вокруг собора заполнялась множеством верующих людей, приехавших и пришедших из многочисленных бесцерковных районов города. И сюда в такие дни, по древнему русскому обычаю набегало множество народа, промышлявшего нищенством. Нищие выстраивались шпалерами на входах и выходах Никольского сада и всех входящих и выходящих из храма богомольцев пропускали через собственный строй, обирая верующих во имя Бога.

Среда старателей, кормящихся Христовым именем, была неоднородна. На верхних ступенях иерархии стояли профессионалы, владевшие умением разжалобить прихожан причитаниями «Христа ради», ловко торгующие своими убогостями, ежели они у них были, и монастырско-юродской одежкой под божьих людей. Многие из этой стаи были знакомы с православными обрядами, календарными церковными праздниками и даже с Писанием. На следующей ступени находились инвалиды войн и трамваев, всех мастей, с выразительным реквизитом — деревянными ногами, выставленными напоказ протезами, культяпками рук и ног, настоящими и поддельными язвами на разных частях тела, собирающие добавку к пенсиям на угощение своих порушенных утроб. За ними следовали благообразные старушки побирушки, совмещавшие безбедную жизнь с возможностью вытянуть гроши из большого скопления народа для удовлетворения собственной жадности. Они больше всех и ниже всех кланялись перед подающими милостыню.

И уж совсем «на дне» этого сообщества находились истинные нищие, приехавшие из голодающих областей или республик. Вспомните 1947–1949 годы засух и неурожаев на Юге России, на Украине, в Молдавии. Нищяя братия гнала прокопченных, тощих людей от насиженных выгодных мест побора — рынков, магазинов, вокзалов, храмов, обзывая их цыганами. И те вынуждены были бродить со своими мешками по улицам, дворам, квартирам и радоваться всему, что подадут.

Наши монашествующие отпевалы в одежонках черных и темно-коричневых «церковных» цветов относились к самому высшему сословию «певцов Лазаря» — к обитателям паперти. Промысел их возник по необходимости — из-за малого количества церквей и невозможности служителям храма отпеть всех усопших жителей города.

К тому же многие боялись хоронить близких с помощью церкви, так как состояли в партии или комсомоле, служили чиновниками в заведениях, где такое действие могли неправильно истолковать и обвинить в суеверии. Но они хотели исполнить последний долг перед близкими по-людски, в соответствии с издревле принятыми в России православными обычаями, в ту пору основательно забытыми. Никто не знал, что и как делать с покойными. Многие в панике металась в поисках посвященных людей, умоляя помочь горю. Толковая нищенствующая тетка Мытарка, знакомая с основными православными обрядами благодаря долгой службе на паперти Николы Морского, сговорила басовитую старуху нищенку Царь Иванну, знавшую наизусть Псалтырь и многие молитвы, объединить усилия и создать артель, которая за мзду будет помогать горемычным людишкам провожать в последний путь скончавшихся родственников по всем правилам православного похоронного ритуала. И две опытные нищенки с паперти Николы, взяв в помощь молодую девку-помоганку, создали в Коломне небывалую артель «похоронной помощи».

Со временем, подучившись в церкви всем тонкостям похоронного действия, артель стала популярной у народа-богатыря не только на Коломенском, Казанском и Покровском островах, но и за Невой, на Васильевском острове, где вообще не было действующих церквей, кроме кладбищенской. Надо отдать должное — свои обязанности они исполняли честно, а иной раз даже художественно, то есть с отдачей, или, как говорят, «с сердцем». В особенности «дьячиха» — Царь Иванна.

Мытарка атаманила артелью, была добытчицей и диспетчером всех ее работ. Чтобы не развалилось дело, ей к тому же приходилось держать в узде своих подопечных товарок, особенно алкоголицу «дьячиху», от злоупотреблений «пьяной жидкостью». Внешняя часть ритуала — подготовка усопшего

к панихиде — была тоже на ее плечах: омовение, облачение, украшение чела венчиком, окропление святой водой, правильная установка гроба и подсвечников и тому подобное, а также, если заказывали, приготовление поминального стола.

Молитвенной частью обряда ведала Царь Иванна, остальные ей помогали. Она совершала всенощное песнопение над почившим, то есть панихиду, по полному обряду исполняла роль священнослужителя.

Третья товарка, Мавка, — меченая, списанная с панели промокашка, потерявшая «манок» из-за разросшегося на лице родимого пятна, работала у Мытарки скороходом, реквизитором и снабженкой. Царь Иванна именovala ее попросту «побегушкой». Летом Мавка прикрывала свою родинку полями где-то добытой дореволюционной соломенной шляпы, зимою пряталась в мужскую ушанку и платок. Мытарка защищала девку от нападок злыдней нищенок, преследовавших ее от завидок, — как самую незащищенную. Мавка обязанности свои выполняла исправно, а некоторые даже с выгодой для артели. Например, свечи не покупала в керосиновой лавке, а добывала прямо со склада коробками, пользуясь симпатиями кладовщика-инвалида. От другого инвалида войны — уличного фотографа дяди Вани Костыля с Васильевского острова — за небольшие денежки получала для печальных дел иконки-образа, сделанные фотоспособом и крашенные пасхальными красками. Пить что-либо, даже церковный кагор, Мавке запрещалось. Ежели кто совращал ее вином в тоскливые моменты жизни, то Мавка впадала в кликушество — кричала разными зверьми и билась об пол. Только Мытарка могла с нею справиться.

«Священница», или «дьячиха», Царь Иванна, несмотря на всякие свои чудачества, слыла значительной фигурой в Коломне. По церковно-молитвенным делам давала советы всей непросвещенной округе. Сирота, из подкидышей Покровской

церкви (подкинута была в день царских именин), воспитывалась в Горицком женском монастыре, но постриг не приняла и ушла на заработки в Петербург нянкать детей. Она поселилась во дворах Покровской площади вблизи своей родной церкви Покрова Святой Богородицы. После революции работала помощницей повара в детской столовке, открытой в бывшей богадельне все на той же площади Коломенского острова. В середине тридцатых годов Покровский храм был взорван, и Царь Иванна со всеми остальными богомольцами переселилась ближе к Никольской площади, то есть ближе к Николе Морскому. После потери своего отчего храма начала она попивать, правда, пила только церковное вино, но без него уже не могла жить. Тяготы житухи опустили ее до нищенства, и стала Царь Иванна украшать собою ступени Богоявленского Никольского собора. Была ли у нее семья — никто не знал. Про это высказывалась она очень туманно: «После царев напустил Сатана на Россию разные революции, войны да голодовки. Закрутили нас беды так, что до сих пор кувыркаемся. А мужья наши разошлись по землям, от большинства и примет не осталось, погинули, словом сказать».

Говорила она почти басом — такому голосу мог позавидовать любой дьяк. Псалмопение ее было настолько проникновенным, что она сама впадала в транс и доводила печальников усопшего до рыданий и истерик, и за это часто получала дополнительную бутылку кагора. Но после приличной дозы вина в ее голове начинало «царить». Что это означало, объяснить толком она не могла даже в милиции. «Царить стало, наконец дождалась, хорошо-то как, а! Все кругом сытное да золотое, и все кругом гудет да поет, как было в церкви по праздникам в моем детстве». Наверное, за такое «царение» ее и звали Царь Иванна.

— Царь Иванна, ты что, снова зацарила, что ль?

— Ой, зацарила, Мытарка, зацарила. Поднесли ведь от добра душевного, больно довольны песнопениями моими, как не зацарить.

К каждой новой своей бутылке кагора обращалась как к забубенной подруге с гимном признания в любви: «Силушки нет жить без тебя, радость ты моя... насладительная...» И опять впадала в царение, вспоминая светлую дореволюционную молодость: «По Невскому-то царя с царицею да со всеми царичками и малым царьком в богатых золотых каретах возили — народу казали. А народу-то кругом тьма-тьмущая, и все расфуфыренные. Фуфыры в светлых шляпах с цветами да в радости. Дома, как невесты на свадьбе, цветной материей убранные стояли, а с балконов дорогушие ковры свисали. На мачтах-фонарях по Невскому рисованные орлы парили и Гоши-победоносцы своих змеев кололи. А главный устроитель города с котовыми усами — царь Петр — с башни довольный на всех глядел. А сама я с господскими детьми на балконе стояла и все это кино видела».

— Царь Иванна, ты снова в тот, царев свет отошла?

— Отошла, матушка, отошла, там-то лучше, чем в сегодняшнем пропадании.

Главная задача Мытарки состояла в том, чтобы не допустить перебора «дьяконицей» во время работы церковного вина.

— Побойся Бога, Царь Иванна, нельзя наливать перед такими делами. Кроме греха, нельзя топтать людское горе. Мне за тебя шабаркнут по кумполу и будут правы.

— Да что платят-то, Мытарка, копейку всего за ночное бдение, — оправдывалась Царь Иванна.

— А ты хочешь, чтобы тебе сразу штуку давали, сквалыжница алкашная?

— Да не кыркай ты, не кыркай, начальница, сколько можно. Не согрешу я, не бойсь, что сама дашь, на том и спасибо.

В день смерти вождя Мытарке пришлось запереть «дьяконницу» в своем подвале, так как пьяная Царь Иванна на Крюковом канале гудела всем встречным на пути людишкам, что отпела она скотоводца по первому разряду и что душа его небесничает в царстве ангелов и ангелиц.

— Застегни крикушку свою, Царь Иванна, неужели не чуешь, что отпевание твое Сибирью пахнет? Дура ты стоеросовая!

— Почему стоеросовая?

— Потому что из ста дур самая дура!..

— Ой, Мытарка, ой, ругаешься ты, а я ведь из добра. Да, болезненная я, болезненная алкоголица, бестолковка моя уже ничего не варит, — гудела ей в ответ на все согласная Царь Иванна.

Про Мытарку никольские нищенки рассказывали всякое-разное. Некоторые баяли, что она из монашек. Что из разогнанного в двадцатые годы женского монастыря попала в лиговские притоны. Отсидев в тридцатые по бытовухе, в войну санитарила в госпиталях. Другие рассказывали, что она блатная с Лиговки и что ее за нарушение воровских законов погнали с малины. В войну будто бы спекулировала и с дворниками квартиры дистрофиков обирала. Потом косить стала под нищую, чтобы концы в воду спрятать, а на самом деле богатящая. Третьи просто обзывали ее авантюристкой, незнамо откуда возникшей и способной на всякие турлы-мурлы. Но все как одна ее боялись.

За посягание на личности ее «бригады» она могла отчистить обидчиков так, что вороны в испуге взлетали с веток Никольского сада. Школа ругани у нее была отменная. Как ее звали на самом деле, никто не знал. Товарки по нищенству злорадствовали от зависти, за глаза называя их артельный заработок «налогом с покойников», а ее, как вождицу самодельных отпевалок, — Мытаркой, то есть сборщицей налогов. Не случайно этих злоязычниц Царь Иванна ругала «вертикально лающими собаками». Они даже подговорили редкого в среде

старух, «поющих Лазаря», мужского бомбилу*, чтобы тот добыл от артели долю для всех побирух с паперти Николы Морского. Нанятого жлоба — инвалида трамвая, изображавшего благородного инвалида войны, — Мытарке пришлось скинуть с лестницы, приговаривая: «Крысарь мохнорылый, отсычить хочешь, пароход уже купил, на самолет не хватает. Рукодельник трюхатый, шиш с нас возьмешь!..» А главной заводиле, рябой красноглазой сычухе, она сотрясла мозговую жидкость.

Несмотря на множество интересных, даже толковых качеств начальницы «монашек», у нее были свои слабости и пристрастия. Одна из слабостей, естественных для того времени, — она курила. Тогда курили все, кто пережил блокаду. Дымила она самокрутки дешевого табака, купленного на Сытном рынке у какого-то Никича. Дым от тех самокруток отпугивал не только людей, но и собак. Второй слабостью нищенской паханши была любовь к карманным часам, которых у нее было множество, правда бросовых, но носила она их в специально вшитом в юбку кармашке, как положено. Часы свои звала «собакою», как их именовали воры.

Последняя слабость была самой греховной. Четыре или пять раз в году Мытарка исчезала из Коломны на неделю-другую. И долго никто не знал, куда она исчезала. В эти пропадания атаманши Царь Иванна и Мавка справляли панихиды без нее, но более сумбурно и не в том качестве, нежели с нею. Появлялась она на своем острове всегда с какой-нибудь обновой: шерстяным платком, кофтой, блузкой. Через некоторое время от нищих Петроградской стороны дошли слухи, что у Коломенской Мытарки полюбки с ботаническим служкою — между прочим, гермафродитом. Шаромыжки и побегушки коломенские жалели Мытаркиного возлюбленного. Увидев на ней очередную обнову,

* От разг. бомбить — попрошайничать.

говорили между собой: «Смотрите-ка, как она своей любовью несчастного обобрала». Другие побирушки спорили с ними — не может Мытарка любить гермафродита, гермафродиты живут только друг с дружкой. Вон во дворе по Писаревой улице живет пара их и данное дворовой пацанвой прозвище имеет: Папиндя Рогатая и Маминдя Усатая. Но кто из них он, а кто она — неизвестно. Даже местный татарский дворник не может разобрать.

Несколько лет убежала Мытарка с Коломны на петроградские острова. А одним годом на третий раз пропала окончательно, то есть не вернулась домой в свой подвал на Мастерскую улицу ни на вторую, ни на пятую неделю. Вокруг этого события среди коломенского опущенного народца начались страсти и пересуды. «В любовном грехе испарилась двигалка наша. Теперь мы с тобой, Мавка, сироты беспризорные, сгинула наша артелька», — прохрипела Царь Иванна своей побегушке и зацарила так, что впала в горячку и оказалась в больнице, где начала отпевать всех лежащих без разбору.

У Мавки Меченой от расстройств и переживаний прямо в ограде Никольского сада перед храмом, на виду у всех, случилась «бесова трясучка», и она вдруг зарычала, закричала, закликала разными птицами и зверьми. Пришлось звать самого соборного батюшку изгонять беса.

Говоря словами Царь Иванны, многие мерзостные «эфиопские образины» были довольны порушением Мытаркиного дела. Но всех разбирало любопытство — что же все-таки произошло с нею в Ботаническом саду? Обитатели паперти на очередной складчине, приняв на грудь хорошее количество «огненной жидкости», постановили отправить на Аптекарский остров, в гермафродитов сад, разведчиц с заданием добыть сведения у аптекарских людишек об их товарке — Мытарке Коломенской.

Вернувшиеся с островов Петроградской стороны разведчицы ничего, кроме слухов, не принесли. По одним рассказам,

правда, от самого главного ботанического сторожа, гермафродит их, по прозвищу Гальваник, был натуральным скобарем и, дослужив в саду до пенсии, недели три назад уехал на свою псковскую родину. А с кем — не могу знать. Если кого-то взял, то слава богу — стариковать ему веселее станет. А отчего Гальваником звали, так он сам виноват — всем рассказывал, как по нечаянности ложку белого металла проглотил, а назад из себя получил ложку желтого металла. Обозван был правильно, у нас на Аптекарском проспекте с царских времен Электротехнический институт стоит — все грамотные.

Соседи из дома напротив, что на проспекте, советовали искать останки Мытарки в кущах Ботанического сада, где ревнивый гермафродит мог задушить Мытарку, не желая отпускать ее в Коломну. И после сбежал с наших островов к своим бандитским скобарям.

Царь Иванна, выйдя из больницы и получив пенсию, с похоронным ремеслом завязала. Увидеть ее можно было либо в агитационном пункте на улице Союза Печатников, где сидела она перед великим изобретением двадцатого века, телевизором «КВН» на своем стуле-троне в первом ряду, немного слева, у самого увеличительного стекла, либо по воскресеньям и по всем церковным праздникам на паперти Морского Богоявленского Никольского собора.

Если услышите нищенское обращение к прихожанам, произносимое пропитым хриплым басом: «Будьте, отцы, милостивы, сотворите святую милостыньку, благословите на копеечку», — то это она, Царь Иванна.

Мавка Меченая попала не то в психбольницу, не то в «казенный дом» за бродяжничество и шум, испускаемый изнутри себя.

А в кущах Ботанического сада, что находится на Аптекарском острове Петроградской стороны, до сих пор ищут Мытарку Коломенскую, но там ее нет.

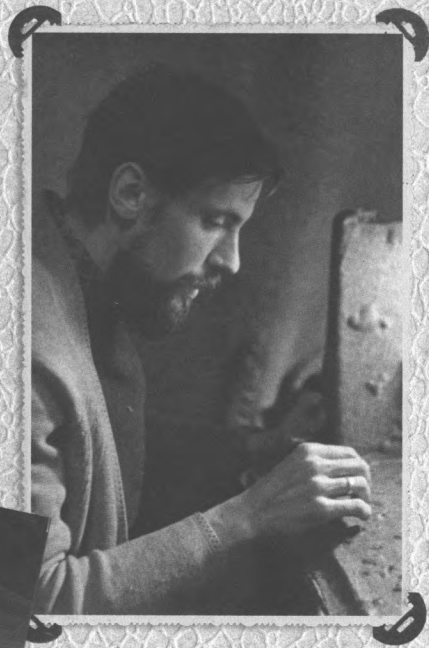
IV





Брандмайер





↑ Остроумов, Михаил
Михаил Николаевич



*Дору
инспира* →



M. K. ...

Последние

В начале 1960-х годов в Театре драмы и комедии на Литейном я оформлял спектакль по пьесе Алексея Максимовича Горького «Последние» — дипломную работу ныне известного московского режиссера Камы Гинкаса.

Чтобы рассказать историю старинного дворянского рода, последний представитель которого Иван Коломийцев деградировал до службы в полиции, мы решили собрать на сцене мебель разных поколений за сто лет русского дворянства и через обстановку дома показать историю семьи. Контрастом подлинной мебели был фон — огромное распростертое стеганое одеяло буро-красного цвета, прожившее в этой семье много лет, — своеобразная физиология рода. Эта затея совпала с фантастическим периодом в истории нашего города, когда после борьбы с излишествами в архитектуре начался быстрый «пошив» хрущоб* и масса семей из старых питерских коммуналок переезжала в отдельные квартиры блочных домов.

Естественно, что старинная, уважительная к человеку мебель никак не помещалась ни вдоль, ни поперек в новых жилищах, не говоря уже о высоте, так как, по шутке того времени,

* Блочные дома времен Н. С. Хрущева.

строились эти дома со сверхзадачей — соединить потолок с полом.

В городе началась повсеместная распродажа «негабаритной» мебели, и появилась возможность приобрести настоящие антикварные вещи по бросовым ценам, как раз подходящим для театра. Эти обстоятельства, а также бурная модернизация послесталинской жизни вызвали своеобразную моду на новую мебель, а старую — всяких там «Павлов» или «Александров» — можно было купить за десятку или даже найти в подворотнях питерских домов, на помойках.

Я не шучу — книжный шкафчик красного дерева с латунной отделкой («жакоб» местного производства) торговали за десять–пятнадцать рублей. Роскошное «павловское» кресло карельской березы стоило намного дешевле «вшивого» современного стула. Сейчас в это чудо трудно поверить, но так было в то сумасшедшее время. А как его по-другому назвать, если театру венские стулья дарили, огромные дубовые буфеты и горки с резьбой и точеными деталями 70–80-х годов XIX века умоляли забрать бесплатно — только бы вывезли на казенной машине?

В театр приносили бронзовые золоченые подсвечники по пять рублей за штуку, веера — по два, старинные зонтики — по три рубля. Для спектакля мы купили шапокляк* замечательной сохранности, с парижским клеймом — за пятерку, золоченое пенсне в кожаном футляре — за рубль, старинные колоды карт — по два рубля за колоду.

Когда театр давал объявление по радио, то бедные пожарные, сидевшие сутками у телефона, лишались отдыха — им постоянно приходилось записывать координаты огромного

* Складной цилиндр.

количества старушек, реже — стариков, жаждущих продать что-либо театру. Телефон не умолкал по нескольку дней — звонили со всего Питера и предлагали, предлагали...

После объявления о покупке мебели для «Последних» мне, художнику, выдали довольно толстый гроссбух с этими адресами. Ознакомившись с ним, я понял, что никогда в жизни не смогу обойти такое количество жаждущих.

Путешествие только по десяти адресам заняло более месяца, правда, сопровождалось оно для меня множеством интересных открытий. Я слышал рассказы, которые казались в ту пору неправдоподобными. Видел потрясающе редкие вещи.

Через малое время я научился различать, досталась ли мебель человеку по наследству или попала к нему случайно, в связи с коллизиями истории Государства Российского. В одном из домов на Моховой улице, в довольно добротной квартире, я обнаружил нескольких «булей» — мебель черного дерева с инкрустациями из золоченой бронзы и черепахи, французской работы XVIII века. Владельцы по своему виду совершенно «не соответствовали» такой мебели, но понимали, что она чего-то стоит. Мой неосторожный вопрос — как эта мебель к ним попала? — жутко испугал их, и они сделали все, чтобы я оказался с другой стороны входных дверей, и более из театра никого не пускали.

Было много сюжетов, но один из них запал в память на всю жизнь, поскольку рифмовался с названием нашей пьесы «Последние» и отчасти — с моей декорационной идеей.

Сам я родился на Городском острове Петроградской стороны и с некоторой сентиментальностью отдавал предпочтение адресатам петроградских островов. Один из них жил в районе Петровской набережной, недалеко от Военно-воздушной ака-

демии. Рукою нашего замечательного пожарного — человека дореволюционного, именуемого, между прочим, Александром Сергеевичем, — было записано: «Во дворе, рядом с Ведомством», — слово «Ведомство» выведено пером с уважением и с большой буквы.

Действительно, во дворе сталинского дома, выходявшего на Петровскую набережную, стоял небольшой двухэтажный особнячок времен Николая I с единственным входом по центру. Явная заброшенность и потертый его вид наводили на мысль, что дом приговорен к сносу.

Из сеней через дубовую филленчатую дверь я попал в вестибюль с лестницей, напоминавшей — в миниатюре — вестибюль Михайловского дворца, только с другой биографией. В подступеньках еще крепкой лестницы сохранились бронзовые крепления с прутками для ковровых дорожек. С лепной розетки потолка свисала бронзовая цепь, предназначенная для исчезнувшего со временем вестибюльного фонаря.

Особняк был поделен на четыре квартиры. Две — внизу, по обе стороны лестницы, две — наверху. В записи пожарного Александра Сергеевича значилось: «Второй этаж, дверь слева от лестницы» — и еще: «Просьба приехать в 19.00, не ранее. Спросить Анну Павловну». Я постарался быть точным.

На мой звонок без вопроса «кто там?» дверь открыла небольшого роста бойкая дама с правильными, несколько жесткими, но красивыми чертами лица. Ей, вероятно, было около семидесяти лет, но назвать ее старушкой никто бы не решился. Не знаю как, но она сразу поняла, что я из театра, и без лишних вопросов впустила меня в довольно широкую прихожую-коридор, в которой находились еще три двери, кроме входной. Стены этого помещения от пола до потолка были плотно завешаны картинами, одетыми в холщовые и марле-

вые чехлы, все оно было загромождено какими-то предметами, завернутыми в старые пожелтевшие газеты. Крепкие антресоли над дверью занимал целый семейный архив в старинных папках, кожаных портфелях и фотоальбомах. Весь этот коридорный поп-арт производил впечатление некоего временного хранилища, где упакованные вещи ждут возвращения на свои места после затянувшегося ремонта.

Три проходные комнаты являлись частью прежней анфилады. Малую комнату с одним окном метров пятнадцати приспособили под кухню. В ней кроме всякого любопытного кухонного скарба висело пять или шесть различных настенных часов немецкой работы. Две другие большие комнаты, метров по двадцать пять–тридцать, за двустворчатыми дверьми скрывали огромное количество потрясающей мебели, которой позавидовал бы любой роскошный антикварный магазин. Возникло впечатление, что сюда снесли мебель со всего дома.

В первой комнате редкой красоты гостиний гарнитур времен молодой Екатерины — еще не классицизм, но уже не барокко — соседствовал с красного дерева «Павлом». Среди этих вещей стоял замечательной работы немецкий рояль из альпийского ореха, сделанный явно на заказ. Его крышку украшали две бронзовые жирандоли синего стекла, несколько подсвечников и фотографии в бархатных рамках. Простенок между окнами занимало большое елизаветинское кресло ручной работы, обитое старинной парчой на льняной основе, над ним висело зеркало розового стекла в резной позолоченной раме.

Энергичная хозяйка, заметив мое удивление, оправдалась: «Дом забирает „Ведомство“, а нам предлагают переехать в маленькую квартиру. Сами понимаете, с такой мебелью переезжать, извините, в живопырку — невозможно. Все соседи уже уехали, мы остались последние».

Она знала все про свою мебель, точно называла стили, мастеров, время; что полагалось называть по-французски или по-английски, называлось на этих языках.

Во второй комнате на огромном персидском ковре стояли спальный и гостинный гарнитуры карельской березы с фарфоровыми, окантованными золоченой бронзой вставками в спинках. Замечательно, что сюжеты фарфоровых пасторалей были разными на всех видах мебели. Над кроватью висел овальный пастельный портрет начала XIX века, как потом выяснилось, хозяйкиной прабабки. Слева и справа от портрета красовались две великолепные эротические французские гравюры, расписанные акварелью и предназначенные именно для спальни. Лепной потолок украшал спальный фонарь розового стекла. Одним словом — фантастика! Музейные вещи! Я так и сказал: «Вы знаете, Анна Павловна, все это великолепие не для театра, а для музея». Выяснилось, что она предлагала музейщикам посмотреть мебель, но никто не приехал. «Попросили, чтобы мы привезли ее сами, — но как это сделать? Я ведь одна на ногах».

Она говорила то «мы», то «я», и поначалу это меня не озадачивало. В комнатах вроде бы никого не было. Но после знакомства с гравюрами, отойдя от кровати, я вдруг увидел, что против нее, за невысокой золоченой барочной ширмой, на диване карельской березы сидит неподвижный аккуратный странноватый старичок. Одетый в пушистый свитер и белые вязаные носки, он держал руки на коленях и никак на меня не реагировал. Тщательно подстриженная под ежик седая голова его не поворачивалась. В этой своей аккуратности и застылости он был похож на большую куклу. Я даже испугался, но испугался не его, а контраста музейного великолепия и абсолютно чужого всему этому старика.

Заметив мою ошарашенность, она, ничего не объясняя, бросила вскользь: «Он у меня парализован». И продолжала: «Это спальня моей матери... Здесь, конечно, не все осталось. Вы знаете ведь, что мы за свою жизнь пережили, — кошмар!»

Но как же им удалось сохранить весь этот антиквариат, несмотря на революцию, разруху, ежовщину, блокаду — всю историю Совдепии? В первой комнате на рояле лежал в переплете вишневой кожи с золотым тиснением семейный фотоальбом. Я признался, что по роду своей работы интересуюсь старыми фотографиями; она разрешила посмотреть альбом, даже стала сама листать его, комментируя, кто есть кто. На первой странице я увидел фотографии родителей Анны Павловны, выполненные известным петербургским мастером. По военному мундиру отца я понял, что он был генералом от артиллерии. А она, переворачивая страницы альбома своими красивыми сухими руками, слово за слово стала рассказывать про свою неожиданную для ее происхождения жизнь. Может быть, ей было необходимо выговориться перед кем-то, и я оказался этим кем-то, да к тому же внимательным слушателем. Или, прощаясь с домом, где родилась, решила напоследок поведать обо всем, что с нею произошло. И вместе с мебелью передала мне свою историю. Историю, благодаря которой и сохранилась мебель.

Она носила двойную русско-остзейскую фамилию. Отец ее воевал на Западном фронте и находился в 1917 году в районе Риги. Осенью мать с младшей сестрой поехали из Петербурга к нему. Анна, как и полагалось дочери артиллерийского генерала, заканчивала курсы сестер милосердия, после которых должна была работать в госпитале, помогая армии. И вдруг произошла революция, перепутав все на свете. Семья не смогла вернуться в Петроград, и она оказалась в особняке одна. Прислуга сбежа-

ла, только приходящая горничная-сверстница не бросила ее и помогала жить, меня семейные драгоценности на еду.

По городу бродили толпы матросов и уголовников, выпущенных из тюрем. Выходить на улицу было опасно, и ей пришлось прятаться в собственном доме.

В конце февраля 1918 года в особняк ворвалось несколько пьяных революционных матросов. Перевернув в доме все вверх дном, в последней комнате второго этажа — в генеральской спальне, под кроватью, обнаружили двух страшно перепуганных девушек: хозяйку и горничную. И изнасиловали их.

Один из насильников прельстился внешностью хозяйки и стал постоянно ходить в ее дом. Деться было некуда в эти страшные времена, и благодаря матросским хождениям она, генеральская дочь, осталась жить.

Кончилась революция. Партийного матроса сделали управляющим ведомственными домами бывшего Второго кадетского корпуса, а она превратилась в его жену. В особняк вселили еще три семьи, им же пришлось потесниться, а мебель и вещи со всего дома оказались в их комнатах второго этажа.

В 1920–1930-е годы Анна Павловна преподавала музыку, обучала детей танцам, давала уроки французского языка. В блокаду служила в госпитале хирургической сестрой. Твердость характера и сила воли, полученные ею в наследство, победили все — она выжила, сохранив человеческое достоинство.

Когда мы подводили итоги моего мебельного смотра и вернулись в знаменитую спальню, хозяйка пожалела своего парализованного матроса: «У него была тяжелая служба, не так просто всю жизнь работать по фискальной части». Болел он давно. Она профессионально ухаживала за ним, исполняя свой долг. Но его фотографий в семейных альбомах не было. Детей у них тоже не было. Они были последние.

Последние

Да, что запомнилось четко: в комнатах, несмотря на обилие вещей и предметов, было чрезвычайно чисто.

Театр для моего спектакля купил у Анны Павловны довольно много вещей. Некоторые из них, в том числе роскошное золоченое кресло XVIII века, потом украшали многие мои спектакли. Кровать карельской березы, уже без фарфоровых вставок в головах, я видел на этой сцене лет десять—двенадцать спустя.

Думаю, что какие-то вещи и до сих пор живы в Театре на Литейном. Кому же досталась остальная генеральская мебель с Городского острова Петроградской стороны, — к сожалению, не знаю.

Алби Франдмайера

Последним штатным моим спектаклем в Ленинградском театре драмы и комедии был «Красавец мужчина» А. Н. Островского. Ставил его старый питерский режиссер А. Винер, происходило это все в 1966 году. Для спектакля необходимо было купить два приличных столовых гарнитура. Театр, как положено, объявил о покупке по радио, работники пожарной охраны терпеливо и добросовестно записывали адреса, и через некоторое время я попал в выстроенный в конце XIX века дом на улице Рубинштейна и по просьбе квартирных хозяев около одиннадцати дня оказался на третьем этаже у добротной сработанной когда-то, но безжалостно выкрашенной в «ржавый» цвет филенчатой двери. Звонок для такой большой двери был неожиданно один и, как тогда называли, ручной, но зато старинный: в латунной, утопленной в стене чашечке находилась симпатичная орнаментированная бронзовая ручка, за которую я и дернул.

Открыла мне дверь высокая старуха с довольно жестко прорисованным лицом — видать, где-то когда-то начальствовала. За ее спиной, по длинному темному коридору открылось еще несколько дверей, и из каждой, как по какой-то команде, высунулось по старухе, а в дальнем проеме коридора, ведущем, очевидно, на кухню, покачивался чей-то тощий силуэт в длинной шали.

Ну и ну, думаю, куда же я попал, что за собес коммунальный, кто их здесь собрал — целый отряд? Я как-то даже назад шагнул от неожиданности. Но начальственная старуха, увидя в руках моих бумагу с адресом и номером их квартиры, спросила резким голосом:

— Вы из ЖАКТа? — И крикнула торчащим в дверях бабулям: — Девочки, ко мне! — И вдруг пять бабусь беспрекословно выстроились перед нею полукругом в передней.

— Кто из вас не заплатил? А?

— Да я из театра, насчет мебели... Покупки мебели...

— А-а-а! — хором произнесли обрадованные старушки.

— Фу, сразу бы так и сказали, — упрекнула меня «начальница». — Вольно, девочки.

После короткого митинга — у кого что и кто за кем — началось мое путешествие по этой странной квартире. Показывали они мне свои комнаты не по порядку расположения, а по какому-то своему, неизвестному мне плану. Все было строго субординировано и четко организовано. Первая, конечно, середина, самая большая, «начальственная» комната; затем соседняя, в которой жила плотная хозяйка с лицом постаревшей комсомолки. Последняя комната соседствовала с кухней. В ней обитала бедная, почти беззубая добрая старушка.

Обойдя шесть комнат, я понял, что их мебель когда-то явно принадлежала одной семье и была куплена или изготовлена специально для этой квартиры. Во всяком случае, из этих комнат можно было собрать очень хорошую гостиную в стиле «второго рококо», очень приличную столовую, кабинет, роскошную спальню и даже детскую. Вся эта обстановка в разных сочетаниях находилась в разных комнатах у разных хозяек с разными следами перекарасок и переобивок. Ощущение было такое, что кто-то когда-то, непонятно, по каким критериям, разделил эту мебель на шесть частей, правда неравных, абсолют-

но перепутав ее назначение. У самой бедной беззубой бабульки под старыми стиранными холщовыми чехлами оказалось по одному стулу из всех гарнитуров, кстати, в первозданном виде.

Как же такое могло произойти? А очень просто! Их, псковских комсомолок, в начале двадцатых годов по спецпризыву — поднимать фабрики и заводы и бороться с разрухой — привезли в Петроград и поселили в этой буржуйской квартире. Поначалу они пробовали жить коммуной, но недолго, затем разделились, пошли семьи, дети, внуки. Затем войны разные, кто замужем был — овдовели...

— Дети с внуками отделились, в квартирах своих живут, а мы здесь кукуем. Но внуки-то ходят, — прихвастнула старуха с обиженным лицом, владелица старинной детской кровати.

— Буржуин был не простого майорского звания, а еще с какой-то добавкой особенной. Да спросите у «домового» нашего — «архитекта», он ведь из его потомков.

— Это тот, кто у вас в кухонном проеме качался?

— Да, да, он — «архитект» бывший, а сейчас цены в магазине рисует.

— А что, здесь есть еще комната?

— Есть — она за кухней. Он там и живет с войны, пожалели мы тогда его, вот и живет.

— И посмотреть можно?

— А почему нельзя? Мы каждый день смотрим. Это наш, прости Господи, театр. Может, и расскажет что, если трезвым будет, — сообщила мне владелица комсомольского лица и гостинной.

Действительно, за довольно большой кухней с огромной плитой посередине, рядом с черным ходом, находился дверной проем, за ним темная комната. Дверь этой комнаты была снята с петель и приставлена к portalу проема. Я спросил сопровождавшую меня плотную старуху:

— А что дверь-то так?

— Так лучше, не запрет. А то запрет, а открыть не может, ослабевший с пьянства-то. Да по-другому нельзя — курит ведь. Вот и пришлось снять ее раз и навсегда.

Узкая длинная комната с окном, упирающимся на три четверти в лестничный выступ, могла быть в прошлом комнатой прислуги или кухонной подсобкой. Оклеенная бедными порыжевшими обоями, пропахшая дешевым табаком и винными парами, она казалась почти пустой. Только старый случайный стол да одноместная металлическая кровать — вот и вся обстановка. В ногах кровати — битый временем небольшой деревянный сундук, даже скорее короб для папок и бумаг, какие раньше были у счетоводов. Над столом висела на одной кнопке вырванная из «Огонька» репродукция перовских «Охотников на привале». А на самом столе стояло несколько пузырьков цветной туши, лежали стеклянные трубочки для шрифтовых работ, плакатные перья, угольник, рядом пустая банка для воды с самопальными кисточками в ней и пять-шесть недописанных ценников для продовольственного магазина. Край стола украшала недокуренная пачка очень популярных в то время папирос «Звездочка» с отлично скомпонованной картинкой — черный военный мотоциклист выезжает из большой красной звезды. Все это я разглядел, познакомившись с робким хозяином всего этого — «архитектором».

Он был страшно худ. Ввалившиеся глаза и длинные седые волосы делали его лицо похожим на старушечье. Покрытие его, которое я сначала принял за шаль, оказалось старым, поношенным пледом. А весь его облик, совершенно беззащитный и покорный любым событиям, внушал жалость.

Главное, что выделялось среди всего в его комнате, — в центре подоконника на квадратной коробке старого добротного картона, как на пьедестале, стояла начищенная до блес-

ка дореволюционная пожарная каска. По контрасту с описанной обстановкой это неожиданное «сооружение» смотрелось памятником сразу всем российским императорам.

— Да, да, — сказал мой новый знакомый, — это каска моего отца. Он служил брандмайором и командовал Парголовским пожарным отрядом. А коробка — это из-под елочных игрушек моего детства. Долго я их жалел, но вот пришлось продать — душа горела.

— А каску вы бы не хотели продать театру?

Он закашлялся и глухо пропел:

— Не-е-е-т — эта память на мою могилку пойдет, за нее мне люди хорошие крестик обещали поставить.

— Тогда извините, не буду вас беспокоить.

Он замялся:

— Не знаю, интересно ли вам, но другого у меня уже ничего нет. Вот хотел показать вам наш семейный... вернее, фотоальбом моего отца, брандмайора. — И из деревянного прикроватного короба достал альбом.

Подал он его мне с некоторой надеждой. Я начал рассматривать альбом в этой темной убогой комнате, и мне стало не по себе. На великолепно выполненных фотографиях все было другое — природа, дома, люди, лица людей, одежда, интерьеры; пожарные в прекрасно сшитых мундирах, не снявшихся нашим генералам, дамы и господа, пьющие чай из фарфоровых чашек и самоваров на роскошных верандах, брандмайор на красивом откормленном рысаке — одним словом, сказка.

— А вам не жаль расстаться с ним? — спросил я.

— Нет, не жаль. Того, что там, — уже не будет. Горит все внутри, душа требует... не могу... Болен я... Все пропадет, как все пропало: родные, квартира, жизнь. А это, может быть, у вас сохранится.

Я вынул десятку и положил перед ним на стол. Две бабки, которые с кухни за нами подсматривали, закричали вдруг:

— Много ему! Умрет! Нельзя сразу давать! Отдайте нам! Мы ему вино купим и будем выдавать порциями, а то всем нам беда!

«Архитект» отнесся к этому совершенно спокойно. Когда старшая бабка ворвалась в комнату и схватила мою десятку, он сказал только, что «как уж они постановили на своем собрании, так и пускай. А иначе ведь из дому не отпустят».

На следующий день я приехал забирать отобранную для покупки театром мебель. И пока рабочие выносили ее из старушечьих комнат, я решил еще раз посмотреть на потомка брандмайора. Ближняя к кухне добрая старушка прошепелявила:

— Все в порядке — порцию получил и поет, можете посмотреть.

В открытую половину его дверного проема я увидел, как тощий, сгорбленный, покрытый пледом силуэт большого алкогольной болезнью потомка брандмайора, командира Парголового пожарного отряда, бывшего владельца этой петербургской квартиры, захваченной псковскими комсомолками, ходил по своему убогому последнему пристанищу взад и вперед и глухо пел: «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» И вдруг, повернувшись и посмотрев на нас своими провалившимися глазами, произнес:

— Человек — это звучит больно.

Последний швальник императора

В великой Совдепии, при всей ее специальной строгости к «бывшим людям», всяким там дворянским капиталистам и просто «антикам», находились места, куда эти «последние» прятались, прикинувшись каким-нибудь мелким спецом, а если шли по ремесленной части, то даже могли вполне нормально существовать (конечно, без громких слов и объявлений о прошлом). Одним из таких мест был театр. Почти каждый театр в Ленинграде держал на разных, порой неожиданных должностях кого-нибудь из «этих». Внутри труппы все знали про списанного пораженца, но из каких-то суеверий даже стукачи-профессионалы на него не доносили и давали человеку понемногу жить при себе, а может быть, даже и гордились своим терпением по его поводу. В начале 1960-х в небольшом областном питерском театре обнаружил я такого «антика» на должности пожарного — «ночного директора».

Звали его просто — Александр Сергеевич. Знаменит он был своим происхождением и, как говорили в театре, «лохматым» языком. Он не был разговорчивым, наоборот, говорилось с ним трудно, а спорить было и вовсе невозможно. Почти все вещи и явления он называл по-своему, и всякий, кто пробовал его исправить, неизменно терпел поражение, разбиваясь о спокойствие и фантастическую уверенность Александра Сергеевича в собственной правоте. По молодости, работая ночами

над своими декорациями, я имел возможность в этом убедиться, беседуя с ним с глазу на глаз в пожарной комнате пустого театра за его «верстаком» (так он называл любой стол).

По своей профессии и призванию он был потомственным швальником, то есть военным портным. Его деды и прадеды, холопы Романовых, шили испокон веку «своим боярам», русским царям, военное обмундирование. Но слово «шили» Александр Сергеевич не употреблял и считал для себя обидным и даже оскорбительным.

— Раньше-то по нашему званию полагалось строить мундир, а сейчас все шьют, педаль нажимают и, главное, смысл портновского деланья забыли. Ты ведь, Степаныч, на картинках видел настоящие строенные мундиры. В них хребет человеческий выпрямлялся, в седле воина держал. А в теперешнем, шитом, ты уже не воин, а аника-войка. В строенном ты — Букан, а в шитом — букашка, и раздавить тебя не грех, вот так-то, начальник. Уважение к делу потеряли, вот и слова пошли не те. Смысел слов перевёрнут, и жизнь вся наша наоборот-нашиворот покатила. Ранее у нас портачить значило портки тачать, и ничего такого плохого в этом слове не было, по молодости лет мы все портачили — портки шили. Их делать проще. А счас портачить — портить значит. Ходите вы в порченом, и сами-то порченые, а что делаете — все портачите, жизнь портите.

— Александр Сергеевич, скажи, почему ты говоришь «ребрирует», а не «вибрирует», как надо?

— Надо по-русски как раз «ребрирует» и говорить. Стекло-то, глянь, в окне, когда ветер дует, ребром ведь стучит-ходит — значит, ребрирует. Вот так-то, мил-мал человек!

Все, что он считал плохим, временным, все, что относилось к власти, политике или агитации, называлось у него «ханерой». Букву «ф» он не признавал и в разговоре заменял ее на «х».

— Ханерная власть и есть, если на таком вшивом товаре себя к праздникам размалевывает. Да кончится она скоро — ты сам увидишь, дорастешь, — потому что хундамента в ней нет. Раньше у чиновленных стойка мундира голову держала, а сейчас что? Бошки свои они в портхелях носят, с бумагами путают. Вот тебе и резолюция.

— Что ты всем свою букву «х» пропагандируешь?

— А как же, мил-мал человек, на Руси эта буква важнецкая. Все ее пользуют, и стар и млад, и православный и тунгус, рядовой да генерал, без нее никак! Она в горле у нас торчит, мы хотим ее все время выпихнуть из него, а не получается. Вроде бы выпихнули, обрадовались, а там, смотри, через момент снова накопилась и хрипит, зараза русская. Это наша с тобою психотерапия, лечение, одним словом, — «хилосохствовал» он.

— Александр Сергеевич, а почему «подстамент», а не постамент?

— Под статуи царей и героев разных раньше подстамент ставили. Ты, малый, не помнишь, какой стоял подстамент под Алехсан Санычем на Знаменской площади, против Николаевского вокзала. А я помню. Говорили тогда, что все питерские ломовые со своими тяжеловозами, которые на плац-то его тащили, от напряжения и большой тяжести геморою заработали. Во как! А счас что? Пижачки да кепочки с бороденками жидкими, прости Господи, на твоих подстаментах поставлены, торчат, ручонками машут, пританцовывают. Все это ханера временная да плешь одна...

Про своего любимого «боярина» Алехсан Саныча, в честь которого он был назван Александром, рассказывал с упоением, причем приписывал ему деяния более ранние и более поздние.

— Царь-миролюбец — ни одной войны при нем не было. Россию в пять лет с достатком сделал, все долги отдал. Знаменитым бисхалтером-счетоводом был. С шести утра до девяти

главные банковские книги сам проверял. Каждые два года всех банковских служек перетряхивал, чтоб жучками не сделались. На занятые у него под процент гроши Бисмарк к Пруссии всю Германию прикупил. В главном европейском городе Парижу мост выстроил в память о своем отце-освободителе, Александре Николаевиче. Через их Сенную речку.

В Ерусалиме на свои кровные Святую землю купил рядом с Гехсиманским садом и монастырь поставил с храмом Святой блудницы Марии Магдалины во главе.

А силищи какой был, а?! Недаром ваш ликописец Васнецов в свою картину «Три богатыря» Ильюшку Муромца с него списывал. Австрийскому посланнику, что грозил в застолье по русским границам свой корпус выставить, на глазах у всех сидевших немецких англичан завязал большую серебряную вилку в узел, бросил в сторону залупившегося австрияка и сказал: «Вот что мы с вашим корпусом сделаем».

Великую сибирскую железку до Порт-Артура в три года построил, шампанского нашего вкус сделал в своем крымском имении «Абрамы-Дюрсо», теперь оно «Советским» зовется.

Ну, пил, а как в России без этого — сам знаешь. Но пил-то аккуратно. Запой свои проводил на прудах гатчинских — рыбу ловил. В эти моменты никого не принимал. Даже послам Бисмарка отказали: «Пока русский царь рыбу ловит — Пруссия может подождать!» Зато до него, начиная с Петра I, Отчина всегда кому-нибудь гроши должна была, а при нем перестала. А про теперешнее время и врать нечего, оно на нас ежедневно пялится.

— Рассказывали еще про царя, что он на язык тяжел был.

— Да, речей произносить не любил, а ежели говаривал, то слова его в ушах застревают. Доносчиков не уважал и доносы принимал только за обедом, после второго блюда, в предвкушении десерта. Однажды большие люди пришли к нему с до-

носом на Петра Чайковского — композитора, что тот жопник (царь иностранных слов не признавал) и что якшается он с великим князем Константином Константиновичем, а это не гоже для людских пересудов. Алехсан Саныч, помолчав хорошее время, ответствовал им: «В России жоп много, а Чайковский один».

Про последнего царя, которому с батькой шинелюшку строил для Первой империалистической, никогда ни худого ни хорошего не говорил. А ежели поминал, то только в прошедшем времени, в отличие от любимца Алехсан Саныча называя его наследником, не более того. Только однажды в сердцах сказал, что «в семнадцатом году обниколаились мы с ним и ни кола ни двора ни у кого не осталось».

— Во как, Степаныч, получилось! О, наболтал-то я тебе разного-всякого, а? На восемь годков в аккурат. Ты уж пожалей меня, не поминай глупостей старого швальника, они ведь «Крестами» пахнут. А то кум мой в тридцатых годах так опростался: стачал шинельку гэпэушному генеральчику по-царски, значит, как положено построил — да в подкладе иголочку забыл случаем. Так за иголочку без переписки и пропал — после опознания-то, что он романовский холоп. Во как быстро свет меняется! Сегодня наш, а завтра тот! Вот тебе и алимпические игры, хизкультура и театр, одним словом. Так-то, начальник.

— Да какой я тебе начальник?

— Как какой? Ты ведь жить начинаешь — значит, начальник. А я что, я уже в подчинении у Боженьки хожу. Революция от Бога освободила людей, а вместо него испуг принесла, вот и стали все мы в обмане жить. Я тоже ведь в обмане живу, какой из меня пожарный, швец я потомственный, пожарным прикидываюсь, так как выгода моя в этом есть. А посмотри на актеров наших — они все время должны разных образов из себя делать. Мне-то из каптерки видно, как они из своей оде-

жонки выйдут, рожи усами да бородами оклеют, в чужое состояние войдут, а назад оттуда до конца-то не выходят, так и путаются между собою и разными персонами всю свою жизнь. Несчастные они человечки...

От его «верстака» через «сени», как он звал рабочий вестибюль-накопитель, был виден вход на сцену. Перед ним на стене висело зеркало, у которого артисты поправляют костюмы прежде чем «взойти на сцену». Александр Сергеевич иногда комментировал эти смотрения:

— Глянь, Степаныч, гарцует-то как кобылица, — говорил он про молодую актрису, — зеркалу свою статью кажет, холка-то, смотри, как пушится — жеребца просит, что ж ты зеваешь — такой товар пропадает. Эх ты, художник-художник.

Моя-то какая была в молодости — шея белая, зубы перламутровые, а «седлышко»-то — у-у-у-у-у! — сесть да облокотиться можно было. А грива — запутаешься! С норовом, конечно, пришлось охаживать, как настоящую кобылку, пока не стала шелковистой. Во, Степаныч, — похвастался он прошлым своей старухи.

Про оправлявшегося у зеркала нового директора театра сказал:

— Хрантовитый какой начальничек, при галстукке, в костюме, ранее-то они все больше себе кительки шили. Как только возвышались по своей партийной линии — сразу заказывали кителек. Власть свою в него охормляли. Знаешь, как много я их поделал, не посчитать, жизнь спасал, семью кормил.

После очередных моих препирательств с этим новым директором учил он меня жизни:

— «Чижика съел» — значит, съел и не возникай. Говори, что съел, рыжий ты, что ли? Все едят, и начальники даже едят, обжираются, им же хорошо, что и ты тоже виноват, что под статью подходишь, что тебя подловили. Да говори им, что со-

жрал его, черт дери, да с потрохами, а перышками-то губенки обтер — и все будет тип-топ. Свояком станешь, глядишь — и в дело возьмут, и пирога отвалят. Битый-то подороже небитого. Наматывай на ус хилосохию житухи, у нас ведь лучше каждому битым да виновным быть, деться-то куда? Так что вот, все должны своего «чижика» съесть, это в обязательстве. С чистоплюйством-то у нас не выходит. Большие больно народом-то да землю. Съел — и сиди себе потихоньку, терпи до благодати старшего по званию... Ох, Степаныч, что-то я тебе снова много всякого лохматого наговорил. Иди-ка ты за верстак свой да и малюй свою дикорацию, а я шинельку очередную построю да пустой карман рублем украшу, а то шамать не на что будет. И, посмотрев на старые немецкие часы, висевшие над головой, перекрестившись, заключил:

— Смотри, цихроблата-то как быстро время жует, не поспеи оглянуться, как очуришься...

Легенда Петровского острова

Как рассказывал прославленный городской историк, правда известный только среди питерских забулдыг и алкашей, Вадно Палыч, или просто Вадно*, название Петровский — естественное. Островом владел лично Петр I. Для него там был срублен дом-дворец. Для царских нужд чухонцы держали на острове отборных коров, а для царских потех с Севера привезена была семья самоедов. Царева сестра Наталья выстроила на острове Комедийный дом — одно из первых театральных заведений в России.

При матушке Екатерине II Ринальди поставил на Петровском деревянный дворец ее сыну Павлу. При дворце выкопали пруд-озеро для царской рыбки — стерляди. Павлова матушка очень любила стерляжью уху. Дворец, к сожалению, сгорел в 1912 году. С конца XVIII века имперская контора стала сдавать островные земли под разные мануфактуры, восковые заводы и пеньковые склады. Постепенно на острове возникла своя промышленность, и с постройкой немцами в 1860-е годы пивной варильни «Бавария» его стали отдавать любителям языческого праздника Ивана Купалы. Гулянья эти сделали остров популярным среди городской пьяни.

* Его говорящий аппарат не уважал звук «л» и заменял его на «в». — *Авт.*

В наше советское время каждая группа питерских жителей знала об острове со своей стороны. Искушенным культурою людям он известен по «Убежищу престарелых артистов», которое открыто было в начале XX века стараниями актрисы Императорского Александринского театра Марии Гавриловны Савиной. Дом призрения служителей Мельпомены находится в конце единственного проспекта на берегу Малой Невки, против Елагина острова.

Питерскому пьющему народу остров знаком по пивному заводу «Красная Бавария». В пятидесятые годы «Бавария» еще не была восстановлена после блокадных бомбежек. Спортивные человеки, которых в городе после войны оставалось совсем немного, Петровский знали по деревянному стадиону Ленина, основательно разобранным на дрова в войну.

Военные моряки и блокадники помнят его по знаменитому заводу, на котором клепали страшное для фрицев русское оружие — торпедные катера «Морские охотники». Катера замечательны были тем, что делались целиком из дерева и были недоступны для немецких мин и радаров. Из-за этих-то катеров фашисты сильно бомбили остров. Почти все строения на нем были разбиты, а сам он превратился в ту пору в городское захолустье.

В восточной части петровских земель, в остатках старинного парка, среди лип и кленов находилось внутреннее озерцо — единственный след всех дворцовых сооружений на острове. Оно привлекало полуголодное окружное пацанье обилием рыбы. Для рыбарей соорудили на нем два плота из балок брошенного стадиона. Один из них находился в небольшой бухточке в северной части пруда-озера. Бухту редкие в этих местах идейно-порядочные люди, гулявшие со своими собаками по берегам царского пруда, называли «Привалом алкашей» или «Бухтой отщепенцев».

И действительно, в этой бухточке дважды или трижды в неделю под видом рыбаков собиралась бражничать у костра божественная часть алкашного человечества петроградских островов. Среди них были бывшие артисты, бывшие писатели, историки, художники, которых сханыжила жизнь, путив их мечты и надежды под откос. На берегу стерляжьего пруда наслаждались они дымом свободы, запивая его чем придется.

«Паханил» над ними актер, списанный со сцены Красного театра* военным ранением, по кличке Секретарь. За что его так прозывали, никто не знал. Не то он был секретарем театрального комсомола или партии, не то играл когда-то партийного секретаря. Но дело не в этом. Если бы не контузия, сделавшая его заикой, он бы не только секретаря, но и любую роль Шекспира мог бы представить.

Другой начальствующий бражник звался Бомбиллой. В Отечественную войну летал он на могучих бомбардировщиках и бомбил фрицев вдоль и поперек даже в их столичном граде Берлине. О чем писал книгу, во всяком случае, после второй дозы каждый раз обещал ее закончить. Сейчас же зарабатывал тем, что «бомбил» человек в магазинах и столовках Петроградской стороны. В привале алкашей служил доставалой спиртного, «летая» за ним в любое время дня и ночи. Нравом отличался общительным, но, перебрав живительной влаги, мог впасть в гордость и буйство, что при его могучем здоровье становилось небезопасно.

Был среди них и художник, которого называли просто Перров, добавляя к фамилии великого передвижника вторую «р». Величание свое мастер заработал бесконечными копиями кар-

* После Великой Отечественной войны — Театр имени Ленинского комсомола.

тины Перова «Охотники на привале», которую костровые люди называли почему-то «Муму на привале». Может быть, из-за того, что сам Перров бесконечно молчал в своей пьяной застенчивости, объясняясь в основном междометиями и жестами, да и копии его носили печать некоторой «глухоты».

В петроградских пивнухах Перров приобрел известность тем, что за две кружки пива из медной проволоки выгибал профиль любого заказчика. А за сто граммов водки на глазах у изумленных пивных старателей изготавливал из той же проволоки профиль вождя революции товарища Ленина и профиль вождя и генералиссимуса товарища Сталина, причем так скоро, что окружающие его питухи восклицали: «Смотри, как ловко стрекочет, — видать, академии кончал». Копии «Муму», извините, «Охотников на привале», писал каждую неделю для еды и толкал их по дешевке в забегаловках на Большом проспекте нашей стороны или в чайных у Дерябкина рынка.

Эти симпатичные для нашего уха, желудка и кошелька заведения, оставшиеся от истории Отечества, существовали в ту пору в Питере большей частью вокруг рынков. Цвет перровских копий менялся в зависимости от наличия у художника в данный момент основных красок. «Муму» могли быть буро-красными, серо-синими, черно-зелеными и так далее, то есть любого цвета, какой под рукой. И ежели бы кто-нибудь собрал и выставил сделанные мастером сотни «Муму», то это была бы самая современная концептуальная выставка из всех возможных в мире, а разные там сюрреалисты, поп-артисты, боди-артисты и прочие нонконформисты содрогнулись бы от зависти. Но за такое идеологическое хулиганство его отправили бы лет эдак на десять рисовать Колыму. А к тому времени мастер находился в последней стадии алкогольной болезни — пьянел от паров, периоди-

чески сгонял с плеч рыжих чертиков и на освоение Колымы никак не годился.

Почти каждый раз на костер отщепенцев приходил старый лабух-флейтист — Дударь Шелапут. Шелапутом он обзывал себя сам за легкость собственной жизни. Приходил обязательно с водкой и, прежде чем выставить ее, требовал «уважения к себе» через какие-либо скабрёзности, которые по очереди должны были рассказывать ему собутыльники.

Начальствующий Секретарь встречал его обязательным вопросом: «Ну, что вы, выс...сокочитимый Шел...лапут, нас...свистели для нас с...сегодня? Докладывайте, пожалуйста, и выкладывайте быстрее, так как перед принятием вашего дара вовнутрь его необходимо охладить». За долю спиртного старая, беззубая шатунья-ханыжка Офелия Дездемоновна поставляла на костер грибы, собранные в куцах Петровского. В далеком прошлом эта тетенька славилась на нашей стороне как самая красивая и бойкая «речная дешевка». Ее обычно сопровождал большой лохматый барбос Гораций — порядочная пьянь в собачьем обличе. На втором-третьем чоканье он начинал жалобно подвывать (что по-местному называлось «алаверды захотел») и выл до тех пор, пока не получал свою дозу «лекарства».

Но наиболее интересной и колоритной фигурой среди всей этой публики был актер-пенсионер Иванов-Донской из Дома призрения актеров, именуемого в советские времена Домом ветеранов сцены им. М. Г. Савиной. Этот малюсенького роста человечек с огромной мохнато-пегой головой всю свою жизнь проработал на поприще провинциальной Мельпомены в заштатных, неизвестных театриках, исполняя крошечные роли калек, приживалов, карлов, щелкунчиков и разнообразных зверюшек вроде ежей в многочисленных спектаклях и елках. Ваф-

ля — Илья Ильич Телегин из «Дяди Вани» А. П. Чехова — самая значительная роль, которую ему удалось сыграть в столичном городе Йошкар-Ола, который он обзывал почему-то Кошмар-Дырой. Иванов-Донской страшно гордился этим обстоятельством и часто поминал свой успех.

Как полагали собутыльники (да и он не возражал), попал в Дом ветеранов сцены Иванов-Донской благодаря своему главному таланту — голосу, удивительно похожему на голос Левитана, любимого народом-богатырем генерального диктора сталинского Совинформбюро.

Кроме голосового таланта Донской-Левитан артистически исполнял при костре роль виночерпия. Причем играл он эту роль чрезвычайно серьезно. Как говорят, входил в нее по всем правилам системы великого Константина Сергеевича Станиславского. Он был если не первооткрывателем дозировки спиртного по булям, то одним из пионеров этого искусства на наших островах. Когда старик начинал свое замечательное действие — разлив, — вокруг воцарялось гробовое молчание. Бражники напряженно следили за его ловкими движениями, а когда последний буль из поллитровой бутылки «Ленинградской» водки, в народе нежно обзываемой, по цвету искусно нарисованной этикетки, «зелененькой», выливался в седьмой стакан, раздавались обязательные аплодисменты. Сейчас, может быть, многие знают секрет нашей поллитровки, но в ту далекую пору эту невидаль показывал только он и только на Петровском острове, причем уверял всех, что Петр I именно так и разливал «родненькую».

Кто-то из нашего талантливой народа, может быть и сам Иванов-Донской, открыл, что 500-граммовая водочная бутылка делится на 21 буль, то есть если ловким моментальным движением перевернуть открытую бутылку перпендикулярно вниз

горлышком над имеющейся емкостью, то из нее с двадцатью очень короткими паузами выльется двадцать один буль водки. И если вам необходимо разделить «знакомую» бутылку на семь стаканов, то в каждом из них окажется по три буля, а ежели на троих, то в стакан каждый получит по семь булей, причем водка дозируется абсолютно одинаково, как в хорошей немецкой аптеке. Искусство состоит в быстром переворачивании открытой бутылки и точном передвижении во время пауз между булями от стакана к стакану. Стаканы для такого спектакля брались граненые, по семь копеек за штуку, и ставились рядом друг с другом, грань с гранью. Не думайте, что это легко сделать и что у вас сразу получится. Секретарь вон долго репетировал, а так и не освоил до конца искусство великих алкашей.

При всех таких подвигах была у Иванова-Левитана и своя знаменитая слабость — после трех паек водки он на глазах у всех начинал превращаться в Гамлета, реализуя свою несыгранную театральную мечту на берегах пруда-озера, в котором когда-то разводили царскую рыбку стерлядь. Кстати, пруд сей становился для него Северным морем, а каждый сидящий у костра бражник — одним из персонажей великой пьесы: пахан Секретарь — Клавдием, Шелапут — Полонием, Дездемона-ханыхка — Офелией, Бомбила — Лаэртом и так далее. К ним-то и обращался наш островной Левитан-Гамлет дикторским голосом, в манере последнего питерского актера-романтика Мгеброва декламируя:

Истлевшим Цезарем от стужи
Задельвают дом снаружи:
Пред кем весь мир лежал в пыли,
Торчит затычкою в щели.

Когда наш Левитан надоедал честной компании своим гамлетовским буйством, его по приказу Секретаря–Клавдия ссылали в «Англию», то есть на другую сторону царского пруда — Северного моря. Могучий Бомбила поднимал маленького старикашку на руки, относил его на рыбацкий плот, усаживал на снарядный ящик, стоящий по центру, вставлял в его руки доску-весло и длинным кругляком сильно отпихивал плот от «датского» берега в сторону «Альбиона». С плота через малое время громкоговорительным басом Левитана Иванов-Донской–Гамлет приказывал: «Занавес! Конец третьего акта, завтра начнем четвертый...» — и плыл в свою «Англию» — Дом ветеранов сцены.

Со временем ссылки стали учащаться, и однажды, когда в атмосфере Петровского острова почему-то резко стало меняться давление и Донской–Гамлет особенно буйствовал Шекспиром, его окончательно сослали. Бомбила, как всегда, проделал все манипуляции с отплытием героя, и пьяный голос Левитана пообещал назавтра вернуться к костру, но не вернулся вообще. Через день, когда домактерские служки совместно с «отщепенцами» стали его искать, то на «английской» стороне моря-пруда обнаружили пустой рыбацкий плот с доской-веслом на бревнах, и более никаких следов Гамлета на них не было. Несколько позже специальные водолазы тщательно обшарили все озерцо, но, кроме детского ржавого танка, ничего и никого не нашли. Вот так странно он и пропал.

В наше время можно было бы подумать, что его увели в свою вселенскую «Англию» господа инопланетяне, но в ту, сталинскую пору, на наших островах эта химера еще не водилась. А может быть, он за многолетнюю дружбу с Бодуном-Бахусом накопил в себе каких-нибудь морских чертиков, и они его через Финский залив и Варяжское море действительно достави-

ли в Англию, если не далее. Много было высказано разных, в том числе и фантастических, предположений у костра «отщепенцев», но Гамлет исчез окончательно и бесповоротно в неизвестном направлении.

На девятый день у поминального костра в «Бухте отщепенцев» собралась вся академия чмыриков-ханыриков петровских островов, чтобы помянуть «зелененькой» актерского пенсионера. Девятины начались с того, что на «плот Гамлета» поставлен был граненый стакан с семью булями водки для без вести пропавшего. Бомбила оттолкнул его, как обычно, от нашего пьянского берега в сторону «Англии», и вся пришедшая гопа выпила первую пайку молча. Разливал сам Секретарь — способом пропавшего виночерпия. Водки было много — каждому досталось не менее семи булей.

Художник Перров явился на девятины с опозданием, но зато с очередной копией «Муму», завернутой в газету. Приняв свою пайку, он снял с холста «Ленинградскую правду», и все поминальники узрели в образе главного рассказчика нашего Гамлета — Иванова-Донского. Заика Секретарь с некоторой заминкой воскликнул в изумлении: «Ну, ты д...даешь, ак...кадемик, м...м...моло...д...дец, лихо п...п...получилось! Жуть-то, к...ак п...п...похож!» Поминальную картину водрузили в свете костра на береговую липу, а Бомбилу послали за дополнительной водкою на Аптекарский остров, к потайному шинкарю Гришке-малине, что на Песках.

Тем временем ритуальный пир продолжался, а к поздней ночи даже разъярился не на шутку и до такой степени, что стал сильно мешать порядочным жильцам с Петровской набережной исполнять свое законное право на отдых. Они, порядочные, вызвали наряд милиции, который неожиданно нагрянул на наших печальников и разогнал их в разные стороны, преж-

де жестоко отлупив всех подряд, даже Секретаря. Обошли только Горация. Он еще до прихода фараонов после второй дозы исчез в кустах и отрубился, это его и спасло. На другое утро Бомбила, ночевавший после побоища под трибунами стадиона Ленина, с надеждой опохмелки обошел озеро и на берегах «Англии» на плоту обнаружил вожделенный граненый стакан, поставленный им для духа Левитана–Гамлета на снарядный ящик. Стакан был пуст...

Происшествие это вызвало удивление, испуг и предчувствие чего-то странноватого у пьющего островного народа. Действительно, с этого все и началось.

Вскоре проходившие мимо озера работники в спецовках, наверное малограмотные, стали рассказывать, что туманными августовскими утрами с озера доносится какое-то чтение то ли молитв, то ли стихов, как будто прямо на озере кто-то включает и выключает радио. А затем еще чище того.

«Охотники на привале», то есть «Муму» во главе с Донским–Левитаном, висевшие на старой липе, на тринадцатый день неожиданно пропали. Некоторое время спустя какие-то абсолютно трезвые петровские людишки божились, что видели, как забрал их кто-то лохматый. Может быть, дух старого актера?

Немного погодя алкогольные работники пивзавода и фабрики «Канат», что на Петровском проспекте, по секрету шептали друг другу, что рано утром спросыпу не раз видели его прогуливающимся по своему проспекту в сторону Малой Невки и Дома ветеранов сцены в костюме Великого Императора, с какой-то картиною под мышкой, и голосом Петра I–Левитана вещавшего: «Внимание, внимание! Говорит Иванов-Донской. Работают все радиостанции Советского Союза. Я возвращаюсь в Данию. Откройте занавес! Начинается четвертый акт истории!»

Легенда Петрового острова

А в совсем последние советские времена варщики солнечного напитка, идущие поздно с работы, у кирпичных стен своего старого пивного завода «Красная Бавария» слышали, как он голосом опять-таки Левитана читает знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть...»

P.S. Великий алкашный историк Вадно Палыч после трех булей «зелененькой» баял, что Петру тоже нравилось гулять по своему ленному острову.

Куроводец

Посвящается н. а. России Г. Ложкину

*Чуден свет — дивны люди.
Дивны дела Твои, Господи!*

Интересно, есть ли где-нибудь в мировой канцелярии книга наподобие Книги рекордов Гиннеса, куда бы заносили сведения о типах, выпадающих из общепринятых норм и устоев человечества, причем украшающих эту самую жизнь необычайной добротой ко всем и даже к самым незначительным существам в живом свете — курам. Если есть такой гроссбух, то имя и фамилия куроводца Евгения Шамбраева заняло бы подобающее в ней место. Сослуживцем и свидетелем необычайных деяний этого дивного человека довелось мне стать в самом начале моей художнической жизни на подмостках малозаметного в Питере в ту пору Театра драмы и комедии.

В этот бывший манеж и конюшни графа Шереметева, перестроенные под театр, в начале 1960-х годов пригласили меня оформить спектакль по пьесе-сказке Е. Шварца «Царь Водокрут». В длинном коридоре закулисья в послерепетиционной толчее я увидел высокого, сутуловатого актера с какой-то странной птичьей пластикой. Мое непроизвольное разглядывание глазами рисовального человека несколько смутило его. Улыбчатые серо-голубые глаза выражали ничем не прикрытую, незащищенную доброту. Улыбаться так мог только рожденный в счастье ребенок.

В результате оказалось — в театре все бывает, — что внимание мое остановилось на главном исполнителе моей сказки, са-

мом Царе Водокруте. Работая над эскизами, я ближе познакомился с театром и артистами-героями, особенно с действительно выпадавшим из их среды и незнамо почему интересовавшим меня Царем—Шамбраевым. Этот удивительно обаятельный человек, с наивным актерским юмором и потрясающим участием ко всем человеческим бедам, слыл в театре злостным вегетарианцем. Слово «вегетарианец» в те совдеповские времена было каким-то подозрительным, вроде какого-то сектантства. А он мясоедов, в особенности куроедов, причислял чуть ли не к каннибалам. И ежели видел, что кто-то ест курицу, то делал рукою шору на глаза и проходил мимо такого безобразия.

Будучи замечательным характерным артистом, Евгений Петрович был к тому же незаменимым шумовиком. Для выездного театра такие данные — просто находка. Он гремел громом, шумел дождем, цокал копытами, скрипел полозьями, рычал, мычал, рычал разными зверьями, свистел всеми посвистами, пел всеми видами птиц и, главное, гениально кукарекал, кудахтал и тому подобное, причем все приспособления для этого изготавливал сам.

Булькающий голос Царя Водокрута запомнился мне на всю жизнь. Артист перевел Евгения Шварца на подводный язык. Его лубочный Водокрут, несмотря на всяческие злодеяния и бульканья, оставался добрым водяным дедом. Шамбраев — первый сюрреалистический актер в моей практике, естественно, что я к нему прилепился, стараясь узнать о нем все, что возможно.

В те годы, впрочем, как и сейчас, жить на актерскую зарплату, имея большую жену, было невозможно. Приходилось искать работу на стороне. Шамбраевский сторонний заработок грошей — совершенно неожиданный: он дрессировал кур. Можете себе представить?! Да, да, именно кур, и этим кормился. Готовил пернатых ученых для «гадательных людей» с пи-

терских рынков и ярмарок. Его маленькие черные курочки-китайки вытаскивали из ящичков записки с гадательными текстами и пожеланиями — обязательно хорошими. Дрессировал курочек для цирковых аттракционов, в частности для цирка на сцене. Более того, он создал невидаль — театр кур, который мне посчастливилось увидеть у него дома.

Жил дядя Женя, естественно, на Васильевском острове, там, где в начале XIX века происходили события романтической сказки-новеллы «Черная курица» А. Погорельского, правда, не на 1-й, а на углу 18-й линии и Большого проспекта. Он, типичный островитянин, и жена его, учительница актерского ремесла, бывшая актриса Императорского Александринского театра, обожали Васильевский. Она была старше него на тридцать лет, давно впала в детство и, прикованная к постели, существовала на этом свете только благодаря ему. Квартира их о двух комнатах, во времена военного коммунизма отпиленная от еще большей квартиры, обставлена была в прошлом добротной, но пришедшей от времени в упадок, шатающейся мебелью.

В «лазаретной» комнате на большой дубовой кровати обитала шамбраевская Гуля-лапа. Он уже несколько лет служил у нее доктором, санитаром, кормильцем, нянькой и нес свой крест с радостным достоинством. Когда разные люди предлагали ему сдать ее в дом престарелых актеров — он категорически отказывался:

— Нет, никуда я ее не сдам, мне она совсем не в тягость.

Оставшись наедине с женой, обращался к ней с материнской нежностью:

— Как я могу отдать кому-то мою заиньку, нет, не отдам никому мою крошечку...

Он играл с ней, пел песенки из разных спектаклей, убаюкивал ее, как малышку:

Баю, баю, баюшки,
Баюшки, баю,
Колотушек надаю,
Колотушек двадцать пять,
Будешь, лапа, крепко спать.
А-а, а-а, а-а, а,
Будешь, лапа, крепко спать.

— Нет, смотрите-ка, она еще не заснула! — И снова пел:

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф-паф, ой-ёй-ёй,
Умирает зайчик мой.
А-а, а-а, а-а, а...

Гуля-лапа начинает плакать — ей жаль зайчика, он снова успокаивает ее:

Привезли его домой,
Оказался он живой.
А-а, а-а, а-а, а,
Оказался он живой.

Она улыбается. Он радостно смотрит на нее сквозь очки и ласково просит:

— Спи, лапа Гуля, усни, мой цветочек, все хорошо с зайчиком. Спи, лепесточек. Он живой, как и ты.

Гладит ее седенькую головку, она успокаивается и засыпает.

Убедившись, что жена спит, выключает свет и осторожно выходит в коридор. Прикрыв дверь, еще раз прислушивается, точно ли спит Гуля, и только после этого идет на кухню или к своим курочкам, в их школу.

Куриная школа-театр находилась в небольшом зальце — бывшей квартирной подсобке, по правую сторону от входа. Торцевую часть зальца, шириною в два с половиной метра, занимал стеллаж-насест, очень ловко и аккуратно сделанный. Каждая курочка обитала в своей клетушке с устроенным внутри нее гнездом, имела отдельную кормушку и могла общаться со своими подругами. Под каждой клетью находились выдвижные ящики с опилками из театральной столярки. На полу подо всем насестом стоял большой ящик, тоже с опилками. Все остальное пространство представляло собою манеж, где мастер репетировал и показывал своих необыкновенных актрис. «Партер» для посетителей и покупателей состоял из четырех табуретов. На пятом табурете у стены находилось музыкально-звуковое оборудование театра пернатых лицедеев — старинный патефон времен нэпа.

Одним хорошим днем я и в ту пору еще молодой артист Геннадий Ложкин, игравший в пару с Евгением Петровичем роль Царя Водокрута, были приглашены на Васильевский остров познакомиться с его детищем. В назначенное время мы прибыли к нему и тихонько постучали в дверь старинной бронзовой колотушкой. Шамбраев открыл нам почти сразу, попросил не шуметь и надеть выданные им войлочные тапочки, затем своим пружинистым, шарнирным шагом, приложив палец ко рту, повел нас по коридору к сокровенной двери. Метра полтора не доходя до нее, остановился и прислушался — что они там делают? Перед самой дверью сел на корточки, пригнулся и вдруг стал кудахтать. Из-за двери курочки ответили ему тем же. Он громче кудахчет, и они ему отвечают громче, вступая с ним в диалог:

— Ко, ко, ко, коо! Ко, ко, ко, ко-о!

Он рад, слезы умиления у него на глазах. Начинает развязывать веревочку, ею завязана щеколда двери. Курочки его торопят. Он делает шпору, как петух, и негромко, но радостно кукарекает, открывая дверь. Его с восторгом встречают пять очаровательных беляшек, каждая из которых могла бы стать невестою знатного петуха. Начинается беседа. Он спрашивает у них, скучали ли они, милые, по своему папá?

Они отвечают ему:

— Ко, ко, ко... ка! Ко, ко, ко... ка!

Как они себя чувствуют?

Они:

— Ко, ко, ко... ко! Ко, ко, ко... ко!

Потихоньку, чтоб не испугать, он показывал им своих гостей, то есть нас. Они у него спрашивали:

— Ко? Ко? Ко?... Ко? — Кого ты привел?

Он им представил нас по очереди:

— Это наш молодой, очень хороший артист, с которым мы оба играем Царя Водокрута. — Курочки все поняли. — А это художник, который рисовал «Царя Водокрута». Они мои друзья и добрые человеки, вы, пожалуйста, не стесняйтесь их.

— Ко, ко, ко, ко... Ко!

— Ну, слава богу, приняли, — обрадовался дядя Женя.

— Теперь давайте покажем, как мы с вами умеем знакомиться. — И снова что-то им кудахтнул по-куриному. Они вдруг выстроились в шеренгу против нас. Мастер стал называть имя каждой из них, и названная курочка, постукивая лапками по полу, выходила из строя.

— Улыба! — Выходит на шагок вперед.

— Беляша! — Шагок вперед.

— Малява! — Шагок вперед.

— Забава! — Шагок вперед.

— Кроша! — Шажок вперед.

— Умнички, умницы, все запомнили свое имя, малышечки мои, — похвалил их счастливый папá.

Как он их различал — большая загадка. Они казались абсолютно одинаковыми, как хорошо подобранный кордебалет, одетый в одинаковые костюмы и загримированный по одному эскизу.

— А сейчас посмотрите, какие мы хорошие солдаты и как мы умеем маршировать.

Дядя Женя поставил пластинку на патефонный круг, завел его, опустил мембрану на пластинку, сделал шпору и кукарекнул. Курочки, повернувшись от нас на 180° и бряцая по линолеуму своими лапками под марш царской «Славянки», шеренгой двинулись к противоположной стене. Не доходя сантиметров тридцати до стены, под очередную шпору снова повернулись на 180° и пошли на нас. Трижды они повторяли этот путь, пока довольный учитель не выключил патефон и не остановил их похвалой.

— Молодцы вы у меня, какие хорошие! Прямо образцовые солдаты — всем награды, всем награды! — воскликнул он ласково-радостно. — Но перед наградами давайте поклоняемся. Артистам полагается кланяться после выступления. Как мы умеем кланяться?

Курочки что-то закудахтали учителю:

— Ко-ко-ко? Ко-ко-ко?.. Ко!

— Требуют, чтобы я кукарекнул им, — обернулся к нам Шамбраев.

После шпоры и блистательного кукареканья учителя-кочета курочки начинают кланяться, сначала по отдельности: Улыба, Беляша, Малява, Забава, Кроша; затем, естественно после шпоры, все вместе.

— Bravo, bravo вам, ах, какие вы у меня замечательные актрисы, как вы хорошо все делаете. За такую работу я всех уго-

щу обещанной наградой — пшеничкой. Ну и я с вами, как петушок, тоже поклюю.

Насыпает зерно, опускается петушком на пол, отшаркивает ногой очередную шпору и начинает сам клевать. Вслед за ним довольные курочки-актрисы, дружно стуча клювами, награждаются заработанной пшеничкой.

Более слаженной актерской труппы не имел ни один театр города, а ежели говорить о труппе актеров, состоящей из кур, то такого дива не было в мире. По увиденному представлению было ясно, что главным действующим лицом его является петух в исполнении Евгения Петровича. Ни до, ни после этого случая я не наблюдал такого удивительного лицедейства, когда огромного роста человек перевоплощался в куриного отца-хозяина. В этом превращении ощущалось что-то очень древнее — тотемный театр, где он, жрец, исполнял роль посвященного племени тотема — роль петуха. Дядя Женя не дрессировал своих подопечных, он использовал патриархат, принятый в курином племени, опускался до их уровня и, став добрым отцом-кочетом, репетировал с ними те или иные действия. Результат получался более чем замечательный. Поблагодарив дядю Женю, мы ушли от него с широко раскрытыми глазами.

Оставшись вдовцом, Евгений Петрович вскоре с отцовским чувством впустил в свою опустевшую квартиру молодого бездомца. Залетка, почуяв вселенскую доброту куроводца, прикинулся сиротой и заменил ему неисполнившуюся мечту о сыне. Он был замечательно ласков первое время и к старику актеру, и к его курочкам. Как говорится, все друг в друге души не чаяли. Евгений Петрович в радости хвастался коллегам, что он снова не в одиночестве и что у него появился усыновленный человек.

Спустя время молодой ласкатель привел с собой женскую половину, и стали они жить-поживать по-семейному с дядей Женей и его курочками в старой актерской квартире. Через

полгода приживалы уговорили Шамбраева узаконить семейственность — прописать их, несчастных. Куровод наш, от невозможности отказать, совершил это благое для постояльцев юридическое действие.

Прописавшись и став законными владельцами жилметров, человеки эти вскоре превратились в притеснителей старого актера с его куриной труппой. Действовали они исподволь. Поначалу вызвали техника-смотрителя из ЖАКТа и показали курятник в квартире. Затем пригласили чиновника из санэпидстанции и сотворили из своего «дяди Жени» коммунального вредителя. После предписания чиновника о ликвидации курятника в коммунальной квартире и угрозы суда над хозяином с Шамбраевым случился первый сердечный приступ, и он оказался в больнице им. Ленина на Большом проспекте.

Хлопоты театра по таким смешным и ненормальным, с точки зрения государства, делам не привели ни к какому результату. Тем более что мазурики организовали письмо от лестничных жильцов в Василеостровский райисполком, где было написано о порче государственного и общественного имущества и о том, что в жилом доме бесконечно курохчет целое стадо кур, что по ночам кричат петухи и не дают спать соседям по лестнице, и о прочих душегубствах квартиросъемщика-куровода Шамбраева в их образцово-показательном доме. После этого можно было делать все, что угодно.

Пока в больнице Ленина врачи лечили актерское сердце, квартирные поскребыши произвели жуткое глумление над дядей Женей — ликвидировали единственную в мире куриную труппу, попросту говоря, внаглую съели ее.

По возвращении из сердечной больницы актер вместо курочек нашел прикрепленную кнопкой на двери своего зальца копию предписания об уничтожении курятника квартиросъемщиком Шамбраевым в недельный срок — с печатью райисполкома. Прочитав этот документ, он рухнул на пол ко-

ридора с обширным инфарктом. Сопровождавшие его люди театра приживалов в квартире не обнаружили. Дяде Жене вызвали «скорую» и отправили в реанимацию той же больницы. Из больницы на свою 18-ю линию он более не вернулся.

Перед смертью перечислял имена погибших курочек: Улыбу, Беляшу, Забаву, Маляву, Крошу — и радостно вспоминал свою единственную гастроль в Академическом театре драмы им. Пушкина, куда пригласили его сыграть роль Герасима в спектакле по пьесе Я. Галана «Под золотым орлом».

Жильцы рассказывали, что куроеды, оставшись в квартире одни, через какое-то время стали жаловаться своим знакомым и лестничным соседям, что им не дает спать бесконечное кудаханье и кукареканье, доносящееся из стен комнат. Причем первые петухи кукарекают, как и полагается, в полночь, вторые — более продолжительно — через два часа, а третьи, самые громкие, в четыре часа утра — тогда, когда они переживают самый сладкий сон.

А спустя несколько месяцев говорили, что женская половина мазурика, партийная тетенька между прочим, не выдержала и стала клиенткой нервно-психической больницы. И еще через полгода эта парочка губителей бежала в ужасе из ставшей легендарной «кукарекающей квартиры» Шамбраева в только что выстроенную хрущобскую «распашонку».

В заключение хочу обратиться к вам, питерские граждане, и сказать, что если бы я был большим городским начальником, то обязательно распорядился бы изготовить памятную доску в честь великого актера-сurreалиста и куроводца Евгения Шамбраева и пригласил бы лучших островных скульпторов и архитекторов добротнo исполнить ее и прикрепить бронзовыми болтами к «кукарекающему» дому на 18-й линии нашего волшебного Васильевского острова.

Островитянин

Сам я с Петроградской стороны, где разные там подшиваловы, плуталовы, гулярные и бармалеевы улицы. Вообще-то, если смотреть на карту, то это тоже остров. Но нас почему-то зовут «стороной», а «островом» в Питере именуют Васильевский. Есть, правда, в городе еще и другие, но Васильевский из них — главный.

На нем в течение двух столетий всякие «немецкие англичане» мешались с русскими делателями наук и ремесел. Предки моего друга по материнской линии — немцы, осевшие на протестантском острове Петербурга среди своих кирх и кладбищ. По отцовскому же кругу цыганская кровь смешалась с русско-волжской, и среди островных линий и переулков возник новый островитянин — Михаил Николаев, родился в блокаду на Волховском переулке, дом 6, рядом с Тучковым мостом, соединяющим остров с нашей Петроградской стороной.

Выжил он в то крутое время благодаря своей замечательно подвижной матушке Екатерине Васильевне, носившейся во время бомбежек между малыми детьми (прикрывать их собою от осколков) и фабрикой «Промпуговица», бывшей через двор от дома, где она работала. Муж-отец, рабочий питерского завода, лежал в дистрофии на топчане, и поскольку мерз от холода, то был обложен утюгами, камнями и кирпичами, подогреваемыми на буржуйке.

Однажды, когда мать задержалась, отоваривая детские карточки соевыми конфетами, он окончательно «застыл», и две пары детских глаз — Миша и его сестра Оля — лишились своего русско-цыганского бати. Поднять детей в голодные сороковые помогли рыбаки, испокон веку жившие и сушившие свои сети по соседним дворам. На 3-й линии, у Большой Невки, находилось их кооперативное правление. А рыба была Едой.

Обучаться он стал в Тучковом переулке, а закончил школу-десятилетку на Съездовской линии.

Отчего Миша поступил на актерский, да еще к Зяме*, в ТЮЗ, трудно понять, — может быть, от своего кровосочетания? Цыганско-русские немцы должны были что-то выкинуть — вот и выкинули. Сделали поначалу из Миши актера.

И снова была маята. После лицедейства в Туле и Тбилиси он заболел туберкулезом, а возвратясь на родину, в Питер, завязал с этим нервно-пыльным ремеслом навсегда. Какое-то время пришлось кормиться всякой ручной работой, пока тот же ТЮЗ не приспособил его к макетному делу. Тюзовский художник-постановщик Гдаль Ильич Берман, шустрая и добрейшая личность по прозвищу За Гдалью — Гдаль (не мог никому отказать, поэтому работал на всех городских сценах, площадках, эстрадах, в цирках и т. д.), уговорил его попробовать заняться ремеслом театрального макетчика. Вскоре Зиновий Корогодский, актерский учитель Михаила, взял его в штат — и не ошибся, из бывшего артиста со временем возник уникальный мастер-волшебник, лучший из лучших мастеров этого редкостного театрального делания.

Я познакомился с ним в 1973 году. Ныне знаменитый, а в ту пору молодой режиссер Лев Додин предложил мне сделать декорацию к спектаклю «Свои люди — сочтемся», по-моему,

* Зяма — Зиновий Яковлевич Корогодский, главный режиссер Театра юных зрителей.

его первой значительной работе. Там, в ТЮЗе, мне, избалованному к этому времени знаменитыми макетчиками города Борисами Борисовичами, Иванами Корнеевичами, Алексеями Васильевичами, Владимирами Павловичами, представили молодого тощего бородача с карими цыганскими глазами и велели ему показать передо мною свои способности в макетном деле. Этот длинный достал из кармана тряпочку, развернул ее, и на моей ладони оказалось маленькое ружьецо. Затем он, бородатый, сказал, как бы извиняясь, что сделал это просто так, без всяких там масштабов, и ничего более в виду не имел. Самое интересное и поразительное, что в лилипутском ружье этого тощего тэбэцешного человека была ласка. Да, да, оно было сделано ласково. Макетов, макетных работ с таким человеческим чувством до этого случая я не встречал. На моей ладони лежало совсем маленькое ласковое ружье.

Вот с того-то макетного ружьяца я и прилепился к нему, да и он стал «подельником» моим по сценографической части во многих театрах Ленинграда–Питера, Москвы, других городов, а затем и других стран.

Интересно, что первым совместным делом нашим был не макет, а поход на Север. Мне, бродяге, нужен был попутчик, и попутчиком он оказался верным: очень способным, срушным ко всем сторонам ходячей жизни, настоящим окопным товарищем и еще, неожиданно, — очарователем всех встречных людей. Очаровывал он их незнамо чем, наверное, своею добротой, и благодаря этому потрясающему его качеству мы ни в чем не нуждались в наших северных деревнях. А узнав, что он блокадный островитянин, нам из всех домов и со всех концов деревень под это тащили сметану, творог, мед, пироги и прочую снедь — только бы «тощенького поддержать». Так я стал при нем поводырем. Кстати, очень интересное занятие.

В одной из деревень, под названием Погост, моего кормильца от меня чуть было не увели. Старухи хотели его приспособо-

бить на место батюшки, больно уж он им своим видом и нутром подходил, да и церковь пустовала. А то, что молитв не знал, — это не беда. «У нас все есть, — говаривали они мне, — обучим, только отдай нам его в батюшки». Но я про него уже все понял и, конечно, не отдал его старухам, а заразил своим бродяжничеством. И стали мы с ним весной каждого года в тюзовской макетной, между очередными театральными макетами, собирать свои мешки, мечтая о его супчике, сваренном на моем воровском костре. А когда наступала амнистия от бесконечных работ, покупали мы железнодорожные билеты на «очередной Север» и под движение колес чокались со свободою.

Ты помнишь, как мы в жутко дождливый день на раздутом людской давкой автобусе добирались в забытый Богом и советской властью ленный город Ивана Грозного Шенкурск, и как через худую крышу струя воды дырявила в течение часа стриженую голову двенадцати-тринадцатилетнего пацана, зажатого людьми, и как сердобольный шенкурский алкоголик вливал в него, трясущегося, остатки своей водки, чтоб он «не кончился»? Ты помнишь здоровенных мужиков, лежащих у ларя с остекленевшими глазами, сломленных местным коктейлем — смесью «зазаборного» вина «Клюковки» с шенкурским пивом. Много мы этого «кипа» видели в наших хождениях по Северу. А наши сидения у моего костра в твоём палаточном уюте, в мстинском раю, с замечательными художниками Давидом Боровским и Володей Макушенко, с потрясающими подзапретными книгами, за которые бы все мы в других местах да на чужих глазах сидели бы долгие годы...

А зимою мы снова с тобой грешили, и ты снова становился соучастником моих посягательств на создание миров, правда театральных, но все-таки...

Ты помнишь, как мы радовались, когда удалось заставить вспухнуть желваками холст, сделать из холста невозможное — физиологию — в «Холстомере» Л. Толстого. Или два сильно

муарившихся тюля подчинить масштабу глаза и превратить неприятный оп-артистский* эффект муара в ощущение колышущейся листвы и выиграть главную идею «Дачников» для Г. А. Товстоногова.

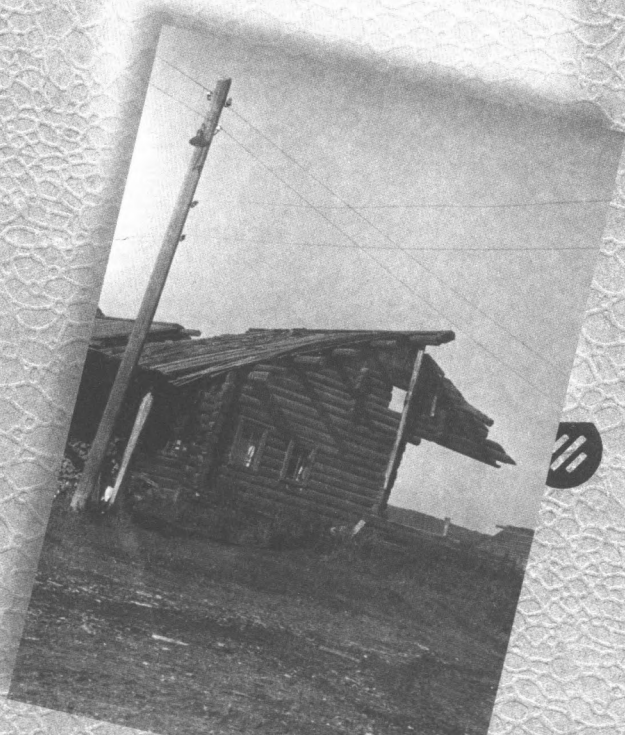
А как мы были довольны, когда у нас в работе к «Возвращению на круги своя» И. Друце получился, наконец, природный храм, в котором (по замыслу сдвинутого чертиками Бориса Ивановича Равенских — светлая ему память!) должен был умереть великий русский человек — Лев Толстой! Или вспоминаю, как на макет монструозных «Мертвых душ», который мы привезли с тобой Ю. П. Любимову на Таганку, в театр приехали все знаменитейшие московские «бояре»-макетчики и отзырили тебя пристально и отдельно от меня с завидками в глазах своих и уважением к твоей островной персоне. А как мне-то было приятно, твоему поводырю с Петроградской. И в сей момент скажу тебе и вам, дорогие друзья, что натворил ты, наш Миша, для всех нас много всякого замечательного. Давно ты у нас уже мэтр и цеховая гордость. Все люди от театральных художеств мечтают с тобой работать. А мои бывшие студенты с Моховой, которые уже захватили театральный город, несут тебе свои идеи и рисунки и отдают их в твои добрые, надежные руки. И правильно делают.

А вы, которые со своими телохранителями катите по Дзержинской-Гороховой, видите — по Семеновскому мосту через Фонтанку шагает бородатый тощий седой человек? Видите светодвижение над его головой в сыром вечернем фонтанном воздухе? Это последние василеостровские ангелы со старой кирхи, что на углу Среднего проспекта и 3-й линии, недалеко от Тучкова переулка, охраняют нашего последнего островитянина — Михаила Гавриловича Николаева, других телохранителей ему и не надо.

И все-таки Петроградская сторона тоже остров.

* От *англ.* op-art — оптическое искусство, одно из течений в абстракционизме середины 1960-х гг.

V





Мамы менен үйдө





Bozursa ↑

Водяной

«Вот он и есть, бесстыжий Водяной, сохнет на солнце», — сказал нам шофер, по-местному — возилка, маленький сухой старичок, остановив свою громадину КРАЗ за десять метров от берега. С высоты КРАЗа я увидел в квадрате парома распластанную фигуру человека с водяным «ореолом» вокруг. «Помогите мне, быстрее справимся, — обратился к нам шофер, спрыгнув на землю. — Дело нехитрое, но без него в Заречье нам не попасть. Повезло еще, что он с этой стороны, а то пришлось бы за ним плыть на другой берег и перегонять его сюда вместе с паромом».

На другом берегу стояла низкая, поднятая на камнях рубленая избушка, или, как их здесь называли, иззёбка, с одним окном-глазом в сторону реки. Лохматая лайка внимательно наблюдала за нами. Спустившись на паром и схватив за ноги Водяного, возилка велел мне взять его за руки — и, раскачав, мы бросили паромщика в реку. Все произошло так быстро, что я не успел узнать, зачем это было нужно: мы ведь могли и сами справиться с мотором. «Э, нет, — сказал шофер, держа паромщика за волосы в воде. — Без него здесь ничего не выйдет». — И, подумав, окунул того снова в воду.

Я спросил, где же паромщик добывает питье, старик удивился: «Как где? Ему и не надо добывать, все машины со жратвой в Бестожево и Заречье через него ведь едут. А ему что на

день-то? Две бутылки «Клюковки» и три пива, помешать да подогреть — отрубает сразу. «Клюковка»-то местная, мангальская, не то на этиле, не то на метиле. Нормально! Речи ему не толкать, а свое движение он выучил. Главное, поставить его к дизелю лицом, а не наоборот. Без его рук механизмы не пойдут, дизель-то хоть и немецкий, но с первых колхозов здесь».

Мы поднесли паромщика к дизелю, и шофер запустил его длинные руки с огромными сплюсненными пальцами в кожух мотора. И мотор заработал.

Дизель и паромщик представляли собой единое целое, и это было какое-то невиданное нигде и никогда новообразование, человекомеханизм или человекодизель — даже не знаю, как назвать, затрудняюсь. Руки человека с пальцами-клапанами заменяли, быть может, давно исчезнувшие детали и в ритме работы что-то закрывали и открывали внутри механизма. Паромщик работал, как музыкант, ритмически подергивая плечами, закрыв глаза, повернув голову набок — правым ухом к огромному инструменту, он явно слушал музыку своего старого кормильца.

Здесь, очевидно, все было рассчитано, отлажено практикой. Как только дизель нагрелся до невозможных для него пределов, паромщик выдернул свои руки-клешни из механизма, и тяжелый паром уже по инерции плавно подошел к другому берегу. Здесь нам самим нужно было быстро закрепить паром веревками: паромщик был уже в воде, охлаждаясь от перегрева.

Пока шофер заводил машину, съезжал с парома на берег и поднимал КРАЗ на угорье, Водяной, охладившись в реке, из того же дизеля вынул заветную бутылку с горячей смесью пива и «Клюковки», глотнул свою дозу и припрятал бутылку. Поднявшись в машину, мы с нашего высока посмотрели вниз, на реку. Водяной опять, как до переправы, лежал на досках парома.

Водяной

— Как же он такой в избушку-то попадает?

— Да просто. Лайка-то на что? Она его к вечеру тормошит, лает на него — он с ее помощью по холодку в себя и приходит, дает ей поесть, да и сам, наверное, ест, не все же водой закусывать. А кто другой здесь жить-то будет? Тайга кругом, зверье воет. Ближайшие души появятся только через сорок километров.

Потрясатель Ермолай

Устьянский край Архангельской области — самое пьянское место в Русской земле, а столица его — село Бестожево, или, как его соседи до сих пор называют, Бесстыжево. «Мужики там с пьянства землей лежат и глаз не закрывают. Во как!» — рассказывал наш возилка, шофер огромного КРАЗа, на котором мы ехали в эту столицу пьянства.

А началось все, как говорят, с Ермолая-потрясателя. Он-то и расшатал местные здоровые основы. История давняя, еще дореволюционная.

Кормила село река Устья, по-старому Ушья, по ней сплавляли лес: гнали его плотами на реку Вагу, где и продавали промышленникам. Мужики как мужики, работающие и крепкие, с Ваги пешком ходили с одним топором и не боялись никого: ни зверей, ни разбойников.

До потрясательского чина о Ермолае мало что помнили в деревне. Был-жил, шатался-болтался, не валил, не рубил, а хвастануть любил. Дорос он так до взрослого парня да и дал ходу. С деревни на плоту спустился до Ваги, попал в Вельск, а оттуда по железке и в Санкт-Петербург. Рассказывали, что, попав в Петербург, Ермолай по молодости служил казачком у знатных хозяев. В их дом по определенным дням съезжались городские гости и, как у них полагалось, разыгрывали живые картины. Бывало, что в этих картинах назначали участвовать

казачка Ермолая. Занятия в картинах ему так понравились, что он, пристрастившись к этому виду человеческой утонченности, по мере возмужания стал выходить в массовых сценах, изображая из себя пейзажиста, затем поднялся до вышибалы-зазывалы в балаганах и цирках и наконец дошел до помощника факирова, то есть стал ассистентом иллюзиониста. Говорят опять же некоторые люди, но сами не видели, что через фокусы эти и магию он быстро и страшно разбогател до барского состояния. А другие говорили, что разбогател он до барского состояния, конечно, через магию, но с ограблением и даже со смертоубийством и потому-то вернулся на родину Устьянскую, то есть бежал от царя и каторги, как когда-то бежали по разным причинам его предки на Север из России от батога и дыбы.

Бежал-то бежал, но прибежал с большим куражом и из себя важной барской персоной перед всеми устьянскими бесстыжевыми. С момента его преображенного появления и началось, как позже стали говорить, «славное прошлое» села и его пьянская знаменитость.

Первое, что Ермолай сделал, прибыв в деревню на тройке с бубенцами, — откупил от жен мужиков «в крепость» и сколотил ватагу для собственных увеселений. Бесстыжевский мужик, работавший на сплаве (то есть мужик крепкий), приносил жене в день самое большее пятьдесят копеек. Потрясатель же Ермолай платить стал по семьдесят пять копеек и таким образом откупил мужиков у жен без всякого сопротивления, а, напротив того, при радости. Отбирал мужиков тщательно, как в императорскую гвардию не отбирали: разница в том, что брал он мужиков разной масти, чтоб к разным костюмам подходили и были без всяких стеснений, могли бы разные позы и рожи делать. Для этого экзаменовал их водкою, чтоб раскрепощались и легче показывались. Всю ватагу Ермолай обрядил

в пейзажную униформу (яркие рубахи и порты, цветные сапоги), а некоторых даже завил.

Главной способностью Потрясателя было питье. Пил он красиво и много, но не пьянел, а только еще больше на разные фантазии возбуждался, как говорили ватажники, пил «для таланту». Зато других упивал, даже как бы и против их воли, иногда до разных непристойных положений, от чего имел свое великое удовольствие. Местному уряднику разрешил выходить на урядное крыльцо, только когда у того кончалась водка, остальное же время урядник должен был находиться в избе и употреблять ее, обязательно закусывая, что он и делал исправно.

Потрясования свои Ермолай начал с живых картин. Ставил ватажников, предварительно «подогретых», в разные позы на скошенном крутом берегу Ушьи. Руководил всем этим с большой лодки с ряженными в красные рубахи гребцами-музыкантами, имея для того специальные инструменты: морской бинокль и металлический «громкоговорильщик» вроде тех, что пользовали на ипподромах. По команде с лодки, под барабан, дудки и гармонику, ватажники на берегу меняли позы и производили разные действия.

Другой забавой было и вовсе непотребство под названием «солдатка Венерина». В соседней деревне нашли солдатку, охочую до разных угощений. Напоили до лежачего состояния, раздели, обрядили ветками березы, цветами и венками, как русалку, покрыли самым роскошным покрывалом, какое нашли, и возили на размалеванной телеге в сопровождении музыкантов и всей ватаги по соседским деревням, показывая за десять копеек всем охочим.

Среди деяний Потрясателя, кроме живых картин, «солдатки Венерины», ряжений и колядований, было одно историческое, то есть разбой на большой дороге Вятка–Петербург. Но разбой не грабительский, бескровный. Ватага с дробовиками ос-

танавливала ехавшие по дороге тройки, очень вежливо приглашала седоков на специально срубленное гульбище и там упаивала до беспмятного положения. Седоков возвращали назад, лошадей выводили на дорогу, в загривки их сажали по несколько ярых пчел и отпускали угощенных на всю свободу.

Это продолжалось бы незнамо сколько, но закончилось после года пребывания Потрясателя в Бесстыжеве его самопотоплением. Излишне подогретый, ставя позы ватажникам, он на глазах у всех оступися, упал в воду и, как говорят, сразу исчез. Помощи ему никто оказать не мог, так как были все в пьянском виде.

Но деяния продолжала его ватага, и свободу 1917 года ермолаевские мужики встретили по-своему, игру в разбойников превратили в настоящий разбой, а узнав о свободе от церкви и совести, окончательно отделились от законных жен и пошли в настоящий разгул и террор по всем примыкавшим окрестностям. Короче, стали в этих краях самой революционной деревнею.

Кожаного, в буденновке, комиссара, присланного к ним из району, встретили разодетыми в ермолаевские фигурные костюмы, угостили его пивом-первачом и самогоном и в честь победы революции пожгли кладбищенскую часовенку, объявив себя красным отрядом.

Потомки бесстыжевской свободы не знали, кто у них отец, а кто просто дядя, но пьянское дело справляли как положено и до сих пор не бросают, хотя живут уже без потрясаний и снова имеют законных жен, правда повязанных не церковным браком, а сельсоветовским.

Бобышка Кюхалка

Там лес и дол видений полны...

В старинные времена, когда наши русские люди еще не разрушали, а блюли и уважали древние традиции, был в крестьянстве один закон. В деревенских семьях — а семьи в ту пору были многодетными — самые младшие, то есть последние дети, сын или дочь, должны были оставаться с родителями в родном доме, помогать им и не имели права жениться или выходить замуж до их кончины. После смерти матушки с батюшкой им зачастую уже было поздно вступать в брак. Так вот и возникали на Руси настоящие бобыли и настоящие бобылихи. За свою тяжкую жертву кроме родового дома они наследовали секреты того замысловатого ремесла, которое испокон веков накапливал и сохранял род. Так наша деревня, вплоть до коллективизации и даже после в лице бобылей имела хороших, хитрых делателей: бондарей, колесников, пасечников, травниц.

Последний удар по этим традициям, в особенности на Севере, нанес Никита-кукурузник, разоривший вконец деревню своими экспериментами. Помните, конечно, как этот потрясатель объединил малые колхозы в большие в местах, для этого совершенно неподходящих. Отобрал у крестьян всех лошадей, коз, кур и коров, лишив их тем самым мало-маль-

ского пропитания, засадил весь Север кукурузой, разогнал ремесленные артели в селах и городках, обругал травниц и травников колдунами во всех газетах, позакрывал половину гомеопатических больниц и аптек, количеством и так незначительных.

Эти события случились параллельно с моей историей. Мне повезло. Я еще застал последних на Руси бобылей и бобылих.

А получилось так, что деться было некуда. Болел я уже много лет, и врачи мои хорошие с моей хронической болезнью сделать ничего не могли. Они даже говорили мне, что надо немного подождать и моя пневмония плавно перейдет в туберкулез или астму и тогда-то, наверное, они меня вылечат. Мне такая перспектива совсем не подходила, и я решил отдаться в лапы обруганных деревенских колдунов.

Из моей бродяжьей жизни я помнил, что в Новгородской области, в Окуловском районе, живет старуха травница, которая абсолютно вылечивает больных грудью за два-два с половиной месяца. Ее-то я стал искать и скоро нашел в деревне Заречье. Вернее, по-местному, не в самой деревне, а на выселках, или в староселье, за бродом. Когда-то, еще до колхозов, там и была деревня, но по каким-то забытым уже причинам все переехали на другой берег ручья, в прошлом — реки, а Нюхалка отказалась, осталась со своим древним домом на старом месте и заросла лесом так, что из новоселья ее не стало видно. Каждый раз, сворачивая с дороги на тропу Нюхалки, я вспоминал: «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...»

Нюхалка было местное прозвище бобылихи, получила она его за то, что с давних пор нюхала табак. Имя это так прочно срослось с нею, что другого, настоящего имени-отчества никто никогда не произносил, бабки из Заречья, возрастом в ту

пору за шестьдесят, по своим молодым годам помнили мою врачевательницу уже престарелой Нюхалкой.

В роду Нюхалки травные секреты передавались из поколения в поколение по боковой женской линии от тетки-бобылихи к племяннице или от двоюродной бабки к внучатой племяннице. Обязательным условием была девственность восприемницы, иначе ее действия лишались силы.

В деревне к Нюхалке относились со смешанным чувством уважения и боязни. На стороне гордились и хвастались, даже рассказывали разные небылицы. При встрече лицом к лицу вели себя как приговоренные к поклонам и почтению. В магазине перед ней все расступались, и она получала свой товар без очереди. Через некоторое время даже я, как «помазанник» Нюхалки, мог купить водку, хлеб, сахар и все другое тоже без очереди.

Огромный бобылихин дом рублен был еще до появления пилы в этих краях и, с моей точки зрения, представлял археологический интерес. Попав туда, я понял, что означают загадочные слова «избушка на курьих ножках» — только ножки эти были не снаружи избы, а внутри. Это был какой-то сон наяву, запечатлевшийся в моей памяти на всю жизнь.

Просевшая от времени тяжелая маточная балка, державшая тесаный потолок, через каждый метр подпиралась неокоренными «рогатыми» стойками из разных пород деревьев. Вверху, под потолком, несрубленные ветки упирались в балку, и на них в несметном количестве висели мешки, мешочки, свертки из домотканой старой льнянины, торчали перевязанные сухие веники и высохшие букеты из неведомых мне трав и цветов. По периметру, вдоль черных бревенчатых стен, на древних широких скамьях стояло множество глиняных горшков, завязанных льняным полотном. Из-под скамей торчали

темно-зеленые николаевские бутылки и банки с измельченными травами.

В красном углу главной по размеру иконой были «Праздники». На фоне ее, по центру, стоял Спас, по правую руку от него — Богородица, по левую — Параскева Пятница, наследница знаменитой славянской богини Мокоши, покровительницы женского начала в природе. Отдельно, под божницей, висела иконка Николая Чудотворца. Все иконы одеты были в языческие венки из сухих цветов и листьев, и мне показалось вначале, что пахли они ранним июньским русалочьим полем, хоть весь сруб внутри был пропитан густым, горьковато-сладким запахом увядшего цветения.

Спал я на сеновале, голяком, меж двух козьих шкур — древняя венецианская электротерапия. Ранним утром Нюхалка поднималась ко мне с кувшином козьего парного молока и заставляла выпить его до дна. Пробуждаясь вскоре от естественного желания опорожниться, я быстро скатывался в «царское место», размещавшееся по соседству с козьим стойлом. Затем в течение дня я поочередно выпивал из глиняных крынок по стакану настоянных трав, съедал запеченную в огромной глинобитной русской печи кашу на козьем молоке, репу, картошку с грибами, а перед сном — снова горячее зелье, чай с медом-первачом.

Через неделю у меня появился такой аппетит, какого я сроду не знал. Через две недели я уже таскал по два огромных ведра воды от ручья до дому без остановки. На третью неделю стал похож на коренастого бугая, а через месяц мне показалось, что коза Нюхалки мне больше не страшна, но «на неведомых дорожках» я старался с нею все-таки не встречаться.

Коза! Коза — это Нюхалкина песня. Она была какой-то великанской породы, силищи необыкновенной, и если бы не ее

буйный и независимый нрав — на ней можно было бы путешествовать. Штыковые рога ее всегда были готовы к действию, но всего страшнее было то, что она никого не боялась и не уважала, кроме Нюхалки, которую почитала за свою родню. Рано утром хозяйка доила ее, и та сама уходила в лес, как мне казалось, охотиться за волками. К вечерней дойке возвращалась к себе в стойло и подавала голос: мол, свое отработала, пора и горбуху съесть.

Такую же козу я встретил потом у бобыля Продувного из Запуконья, только он держал ее на цепи, как собаку, ибо пускать сие живое оружие по деревне было весьма опасно. Вероятно, бобылевы козы были родственницами.

Каждый день лечения моего у Нюхалки стоил 1 рубль 49 копеек. В ту пору для деревенских мест это не было дешево. 1 рубль 49 копеек — цена чекушки, или «маленькой». Нюхалкина дневная норма. Пила она ее с чаем, вернее, с зельем, заваркой из своих трав. Чаепитие такое называлось лечением костей. «Кости стучат, застыли», — Нюхалка для сугреву наливала в старую венедскую кружку из темно-красной глины заваренное крутым кипятком зелье, добавляла треть моей чекушки и не торопясь, с куском колотого сахара, пила свое лекарство.

Лечение костей происходило трижды в день, а так как я не помню, чтобы Нюхалка что-либо ела, к вечеру, когда «коза пришедце», бывало, старуху забирало, и она начинала плясать меж своих столбов. Плясать-притоптывать, напевая беззубым ртом что-то на старом новгородском наречии. Вдруг останавливалась и, не то жалуясь, не то угрожая, довольно внятно приговаривала: «Девушка я, девушка... К лешему ее, к лешему, к водяному...» Эту ругалку, как узнал я потом, она употребляла против жены своего любимого племянника, ко-

торого та увела с собою уже давно из Заречья в Малую Вишеру. Видать, крепко она по нему скучала, «по родинке» своей, отлмышу. В моменты бобылихиных плясаний мне становилось не по себе, и снова я вспоминал Александра Сергеевича.

Да, забыл еще про одно событие. В середине лета заболел у меня зуб, и так сильно, что невмоготу. Маялся я с ним, думая, куда податься. До станции около двадцати километров, потом до Окуловки или Вишеры нужно было ехать, а где еще ночевать? Словом, катастрофа. А все от меда. Что делать-то?

Нюхалка, увидев беду мою, спустилась в подпол, достала оттуда старую, черно-зеленую литровую бутылку, а мне приказала из хлебного мякиша слепить лепешку. Из бутылки на лепешку плеснула немного густой темно-зеленой жидкости, затем велела сделать из нее пельмешку с начинкой из зелья и прикусить больным зубом эту кулинарию.

Скажу вам, что вяжущий вкус всего этого был отвратительным: смесь болотной горечи с крепкой сивухой. Но минут через сорок по Нюхалкиному велению и моему терпению зубная боль стала стихать, а потом совсем прошла и, как полагается, быстро забылась.

Уже глубокой осенью, в городе, после лечения другого зуба я, вспомнив летнее мое боление, попросил врача взглянуть на беспокоивший меня зуб. Вскрытие его показало, что нерв не чувствителен, то есть убит. Вот вам и Нюхалкино зелье.

А врачи мои хорошие по легочным делам, обещавшие мне астму и туберкулез, сделав новые снимки, удивлены были до испуга. На месте пятен остались едва заметные рубцы. И с тех пор, дай бог не сглазить, я забыл, что такое легкие.

Спустя некоторое время, лишившись козы, Нюхалка умерла в полном одиночестве, по своей глубокой старости, унеся в

лучший мир всю свою травную энциклопедию, и нам ничего не оставила, кроме благодарных воспоминаний.

Жители Заречья, похоронив Нюхалку как положено, разобрали старый ее сруб на дрова, и окончательно исчезли и заросли следы староселья за бывшей рекой, а ныне — ручьем.

Бобыль Продувной

Накануне Ивана Купалы деревенская лекарка Нюхалка послала меня с бидоном времен царя Александра-миролюбца за медом-первачом в далекую деревню Запуковье к бобылю по прозвищу Продувной. Мед можно было купить и ближе, но «продувной мед», со слов ее, был искуснее для моей грудной болезни. И вот я, отшагав пятнадцать растяжных новгородских верст, пришел к Запукам, как обзывали местные эту деревню, и у загороды, перед выгоном, встретил двоих мужиков навеселе, оказавшихся соседями Продувного. Один с левой, а другой — с правой стороны его усадьбы. На мой вопрос, почему его так прозывают и кто он такой есть, мужик с левой стороны, с подбитым глазом, ответил:

— Хитер он, ох, как хитер. Всех обвел так, что ни с каким прокурорством не подъехать. А другой сосед, с правой стороны, вообще по неизвестной причине без одного глаза, но, видать, с ругачим языком, просто сказал:

— Немец ему в войну с ногою женилку отхватил. Потому-то он весь в ум да в хитрость и ударился. А что ты думаешь, так это все просто? Давлению-то внутреннему надо же куда-то деться. Вот оно у него в голову и выходит.

— Зато вместо женилки соображалка хорошая, не в пример другим, — сказал подбитый, повернув свой синяк на одноглазого.

Так сначала от них получил я краткие сведения о пасечнике-бобыле, а затем и от него самого узнал о его житье-бытье в запуковском мире, о чем и вам поведаю. Но уж давайте все по порядку.

Деревня Запуковье, по-местному, Запуки, в старинные царские времена кормилась извозом в Санкт-Петербурге. Деды и прадеды Продувного служили в столице извозчиками, и ему суждено было это родовое занятие, если бы с прогрессом всяких других движущихся средств древний вид транспорта не кончился и не исчез с наших дорог и улиц. Ему в молодые годы посчастливилось ухватить извозу всего несколько лет. После извоза все сродники его вернулись в деревню, стали крестьянствовать и к моменту коллективизации в этих краях накрепко крестьянствовались до кулацкого состояния. Их, как полагается, в пух и прах разоблачили, обобрали и отправили туда, где «бродяга Байкал переехал». Там они более десяти лет стучали, по его словам, серпом по молоту, и к войне осталось в живых только два брата. В 1942 году их обоих забрали из Сибири на фронт в штрафные батальоны. А к сорок пятому уцелел только один из них — наш бобыль, да и тому оторвало левую ногу с частью «причинного» места. В свою деревню вернулся он во второй раз уже после смерти генералиссимуса, на костылях, но с инвалидной книжкой в кармане и несколькими медалями на стираной гимнастерочной груди.

Родной свой дом ему пришлось откупать у пропойской голытьбы, заселившей его во времена деревенских экспроприаций, и основательно приводить его в годность. Несмотря на все многолетние испытания, изба его светилась чистотой и добротностью. С широких скобленных досок пола можно было, не боясь, лопать вереную картошку.

Увидев бобыля, я удивился его невзрачности. Мужичонкой он был невеликим, а в сравнении с соседом напротив —

местным кузнецом — вообще чем-то вроде козявки, да еще без одной ноги. Сам же про себя шутил, что «не взрос до уважительного состояния», так как у родителей на него, последнего, сил не хватило. Но зато в войну малорослость его спасла.

— Коротенькому каждый камень — крепость и ямка — убежище, а фитили-то торчат отовсюду да прицела просят. Оттого коротких с войны в России больше осталось, чем длинных, — говорил он свою философию, защищая собственную малорослость.

Несмотря на всю эту невзрачность, его все равно хотели обабить, да он не дался:

— Из собак забор построил, пчелами окружился и зажил бобылем.

Прозвище свое заработал он заслуженно; надул — или, по-местному, продул — всех: инвалид первой группы, не работает в колхозе — раз, водку магазинную не пьет, а пьет свою медовуху — два, да и соседям его не обойти, кланяются по многим надобностям — три.

Узнал он, от кого я к нему притопал, по медному бидончику.

— Тебя что, лекарка ко мне послала? Жива еще старуха? А то здесь слух про нее прошел, что табачок свой она нюхать отказалась. Подумал я, знать, плоха стала — сил на табачок уж не имеет. А бидончик-то у нее совсем диковинный — смотри, как лужен хорошо — как и все остальное от царей из прошлой сказки. Небось страшновато тебе у Нюхалки? Она ведь — бормотунья, чай-водку пьет да костями трясет. Ну что, тебе деревенские уже разъяснили, кто я таков? Про меня здесь всякие враки вракуют. В людодёрское время-то они меня, если не печкой, то о печку бы били. Всякие людишки у нас водятся. Есть и задушевные, а есть и с задушевной ненавистью и скверной лукавою. Да, слава богу, помрачение ума людского проходит — другие времена наступают.

За два дня гостевания моего у Продувного узнал я все его «чудеса».

Первым дивом для меня была его живопись на деревянных досках. Да, да, живопись! Про нее никто из его подбитых соседей не рассказывал, да и он ей особого внимания не уделял и относился к ней как к чему-то давно прошедшему.

Висела она у него в просторном светлом прирубе на бревенчатой стене, против окон, в два ряда. Верхний ряд состоял из двух сосновых досок. Длина каждой — около трех метров, а ширина — пятьдесят пять–шестьдесят сантиметров, не меньше. Доски висели друг за дружкой почти без просвета, занимая всю семиметровую стену. Они были необрезные, то есть края их заканчивались оплывами; получалась естественная окантовка — своеобразная рама, которая окаймляла «малевания» и соединялась своей фактурой с бревенчатой стеной.

Под верхними досками, по центру стены, на расстоянии двадцати сантиметров висела еще одна доска такой же ширины, но длиной около четырех метров.

В первые секунды я не понял, что это такое предо мною. Невидаль какая-то. Но она-то и заставила меня на время застыть.

Никогда в жизни — ни в музеях, ни в книгах — такого неожиданного изображения Питера я не видывал. Я бы сказал — такого точного по самой своей сути. Это была своеобразная, развернутая в плоскость панорама города. Вернее, панорама движения по городу. Точнее, по одной длинной-длинной горизонтали — улице. Узнаваемо питерской, но какой? По булыжной мостовой мчались справа налево — на верхних досках — и, наоборот, слева направо на нижней доске коляски, брички, пролетки, дрожки, а с ними — брусчатка мостовой, столбы коновязи, фонари, дома, окна, двери, люди, небо —

все-все абсолютно. Мне даже послышались шум и грохот этого сумасшедшего мчания. Выполнено все было, видать, очень быстро, да так ловко и живо, что я, уже к тому времени имея самое высокое образование по рисовальной части, был поражен этим чудесным «малеванием».

Техника исполнения чрезвычайно простая — краски масляные, малярные. По жидкой сырой подкладке — фону, через который просвечивала сосновая текстура доски, малой кистью черной краской стремительно нанесен был рисунок, который, естественно, чуть потек. И благодаря этому сухой прием стал живописным. В некоторых местах по контуру рисунок был процарапан до доски острым черенком кисти — получался в плоскостной живописи светотеневой эффект.

Досок всего было написано когда-то восемь — на каждое время года по две. Остались в живых и дождалась хозяйина только три: две верхние — от осени и нижняя, четырехметровая, — зимний Питер с санями.

Свои художества он называл болезнью-тоской. Вернувшись в двадцатых годах в деревню, сильно заскучал по питерскому извозу и стал лечиться таким неожиданным образом. Вылечившись, то есть нарисовав эти доски, он более никогда в жизни к этой «болезни» не возвращался:

— Отхудожничал свое, и довольно.

На вопрос мой, кто же его все-таки учил малеванию, Прудниковой ответил:

— Дядя мой старший, царство ему небесное, монах-ликописец Георгиевского монастыря, что на Ильмене стоит. Хотел меня, мальчика, к своему делу приохотить — глаз мой нашел устроенным на малевание. Но я к отцу в извоз рвался.

В просьбе моей продать мне хотя бы одну «осеннюю» доску он отказал:

— Память не могу продавать. Слишком мало ее у меня осталось. Пускай со мной живет, пока не умру. Они мне вместо родных будут.

Вторым чудом бобыля и главной причиной знаменитого прозвища была его фабрика по изготовлению дранки. Такой фабрики во всех диковинных мирах не сыскать. Как это чудо описать-то, даже не знаю.

На дворе, на мощеной круглой площадке, стояла своего рода карусель, приводимая в движение пятью здоровенными псами. Псы ходили снаружи этой карусели по кругу. Запряжены они были в подкroенную лошадиную сбрую, как тяжеловозы, и прицеплены к огромному колесу — каждый к своей спице. Над колесом, на «втором этаже», сидел сам хозяин и одной рукой с помощью длинного бамбукового удила управлял собаками, а другой — по мере работы — подставлял под специальные ножи короткие деревянные чурки. От вращающегося колеса с помощью нехитрых передаточных шестеренок круговое движение преобразовывалось, и ножи-гильотины драли дранку из подсунутых к ним чурок. Здоровых псов своих он кормил овсяной кашей, как лошадей овсом. А величал их человеческими именами, то есть, вернее, отчествами — Иваныч, Николаич, Петрович, Степаныч, Саныч.

Дело в том, что в ту пору купить дранку где-либо в ближайших краях было невозможно, а большинство крыш на нашем Северо-Западе крыты именно дранкой. Вот поэтому от работы его «продувной» фабрики зависели все вокруг, начиная от начальства и кончая простым одноглазым соседом. Приезжали к нему за дранкой даже из райцентра. Этим промыслом он и держался: крыша, крытая хорошей дранкой, стоит двадцать лет, а то и более — дольше металла в два раза.

— Кормлюсь я забывчивостью приказных людей, которые советской властью командуют, — говорил он. — Лошадей да

коров от крестьянского населения они на государственную службу забрали, а про собак указа не придумали. Собаками и кормлюсь. Летом они мне дранку работают, а зимой с их помощью всей округе я сено из лесов на санях вожу для личных коров и коз. Пастбища ведь не дают, по лесам все косят. Вот тебе и мой петушок. Так и живем: курочку купим, а петушка украдем, — шутил про «беззаконие» Продувной.

Третьим его чудом и гордостью были пчелы. Они, как любимые дети, окружены были его заботой и уходом. Ульи стояли на специально для них выбранном месте, отдельно от огорода. В центре пчелиной деревни — на ее площади — под крышей, крытой дранкой, стоял столб с резаным из дерева водяным дедом — покровителем бортничества у древних венедов, а под ним висели маленькие деревянные ясли с водой — «пчелиный водопой». Сами ульи сработаны были по всем правилам плотницкого искусства и даже с резными фантазиями, как на старых добротных избах. Заметив, что я внимательно рассматриваю его резьбу, он мне объявил:

— Да это я так — раньше у каждой твари свой бог был! А сейчас узорничаю хотя бы и для сказки.

Естественно, что пчелы ему свое отдавали, работали, старались, прославляли своего хозяина как могли. Да и я попал к нему благодаря этой его пчелиной славе. Узнав, что художничаю, за мед он с меня взял только половину.

— Я бы тебе его и так отдал. Да за денежку ты мой мед вкуснее есть-дорожить будешь. А бесплатно-то что — слопал, да и забыл. А тебе лечиться надо, значит, есть не торопись — уважительно, со вкусом. Денежка для этого уважения и нужна — она все и всех объединяет. Вот тебе моя философия.

На третий день поутру уходил я от бобыля со своим медом и гостинцем для Нюхалки — заплетенной в бересту старой

бутылью с хмельной медовухой. И в конце деревни снова встретил меченных жизнью соседей Продувного, направлявшихся в начальственную деревню Кашеево за водкой.

— Ну, как тебе наш фабрикант? — спросил меня сосед с синяком под глазом. — Хорош гусь, а?

— Да какой он фабрикант, — ответил ему одноглазый, — если у него муды оторваны — обныкновенный Продувной, и все тут.

Россия!.. Кто здесь крайний?

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

В начале 1970-х годов, во времена моего хождения по Русскому Северу, попал я со своим напарником-соседом в старинный, вологодской земли город Тотьму. Попал с познавательными целями — для своей рисовальной профессии. В библиотеке моей от дедов сохранилась небольшая книжца, напечатанная в 1924 году в типографии тотьменского отдела местного хозяйства в количестве 600 экземпляров. Книга о деревянном зодчестве Тотьменского уезда Вологодской губернии, с недурными гравюрами художника Е. Праведникова. На одной из них был изображен двухэтажный рубленый пятистенок, покрытый тесом, замечательных пропорций, с высоким крыльцом, красивого рисунка окнами, украшенными резьбою, тяжелым венчающим коньком, то есть со всей полагающейся русскому северному дому-кораблю атрибутикой.

Эта книжка виновата в том, что мы изменили первоначальный маршрут и вместо Никольского района, куда должны были податься по тем же рисовальным занятиям, из Вологды на дэдэроновском* пароходике двинули по реке Вологде, затем вверх по Сухоне в Тотьму. Захотелось увидеть так странно названный город, да еще украшенный замечательной архитектурой.

* От нем. DDR (ГДР) — Германская Демократическая Республика (разг.).

В тесном ресторане парходика за «Вологодским» пивом мы провели почти весь путь до Тотьмы. Сосед наш по столу — начальник рыбнадзора города Нюксеницы, большой любитель и потребитель пива, талантливый враль и балагур, моментально ставший нашим приятелем, рассказал чудную легенду про обозвание Тотьмы. Как представитель соседней с Тотьмою Нюксеницы, он знал про Тотьму все, естественно, с дурной стороны: «Когда первый Император Всероссийский Петр Великий, еще будучи молодым царем, путешествовал по Русскому Северу и объезжал Вологодчину, он на лодках-галерах поднялся вверх из Двины по Сухоне со своими генерал-фельдмаршалами — разными там князьями Меншиковыми да графьями Толстыми. Жители прибрежных городков и деревень приветствовали царское величество на берегах Сухоны, но старательнее всех и совершенно неожиданным способом встречали его поезд жители древней Тотьмы.

Крутые берега реки густыми кругами, как семечками в подсолнухе, были усыпаны низко склоненными долу человечками. С реки застывшие, сложенные вдвое люди выделялись на зеленых угорьях только задницами, торчавшими с округлых берегов прямо вверх, в небо. Зрелище сие из царской дали было настолько непонятным и впечатляющим, что царь, увидев такую картину со своей главной галерной лодки, повернулся к Алексашке Меншикову и спросил: „То тьма жоп, что ли, Данилыч?“ Меншиков посмотрел в свою поднадзорную трубу и ответил царю: „Точно, то тьма жоп на горах, Ваше Величество“. Таким образом сам Петр Первый подтвердил древнее имя города, да еще с важным добавлением-причиной, про которую тотьменцы почему-то забыли, а мы в Нюксеницах по соседски помним», — заключил рыбнадзорный враль, пообещав угостить стерляжьей ухой, ежели занесет нас жизнь в Нюксеницы.

Приплыли мы в Тотьму уже к вечеру и, естественно, как русские пиквистики, страдающие алкогольной недостаточностью наших организмов, оказались прямо с рюкзаками в винно-водочном отделе самого главного магазина Тотьмы. С него-то и начались наши «исторические познания» брошенного под ноги времени и забытого Богом города. В этом важном месте наши целеустремленные взоры были остановлены невидалью в человеческом обличье. Объект сей был настолько кос глазами, что притягивал внимание окружающих неправдоподобностью этой косины. Глаза его были повернуты в противоположные стороны — левый в левую, а правый в правую, причем настолько сильно, что он этим невозможным глазным устройством прямо-таки гипнотизировал глядевших на него людей.

В своей правой руке держал он только что выпущенную юбилейную монету с портретом великого вождя революции товарища Ленина и, поглаживая ее грязным большим пальцем, приговаривал: «По лыске, по лыске...» Понять сначала, что он имел в виду, было трудно. Ерунда какая-то! Чего он хочет?! И вдруг держатель рублевого Ильича повернул к нам свою голову и хриплым, пропитым голосом, глядя мимо нас в разные стороны, проговорил: «Ну что смотрите, залетки, помогите вылечиться. Скиньтесь по лыске, глаза поставьте на место, а то вижу я вас совсем в других местах, чем вы сами себе кажетесь. Болен я — излом зрения у меня. Оттого и пью, а дозу выпью, глаза на место становятся, и снова вы там, где и есть. Косой я — наоборот. А теперь давайте-ка по лыске скиньтесь на поправку глазной косины».

«Да скиньтесь же, не жалеите, такого цирку вы нигде не сыщете, да и стоит-то он всего двести грамм», — прохрипел стоящий за нами винно-водочный желатель в потертой кепке-лондонке.

Мы с напарником скинулись, и косой наоборот с некоторым вызовом и гордостью протянул треху водочной продаваль-

щице, сказал: «Уважь, целовальница, больных да жаждущих. Не сердчай, красавица, без нас, косых да косящих, что бы ты делала?»»

Действительно, после принятия двухсот граммов водки глаза его постепенно вернулись на свои места, и он превратился в банального заштатного алкаша. Интересно, знают ли врачи-глазники или доктора-наркологи болезнь под названием «косо́й наоборот»?

После обустройства на ночлег в местном Доме крестьянина, где одно койка-место в общей комнате стоило всего восемьдесят копеек, спустились мы на берег Сухоны варить свой супчик. В городской столовой подавали только макароны с тушенкой, а когда по вечерам она превращалась в ресторан, к этому блюду добавляли пиво за приличные деньги, но зато в графинах. А у нас все было свое. На берегу, достав снедь из малого рюкзака, развели «воровской» костерок, на котором быстро приготовили ужин и только успели отметить прибытие в славную Тотьму, как к нашему костру подковылял из-за кустов костыль с лицом тяжело пожившего человека и вежливо попросил дать ему всего-то консервную банку из-под тушенки. Мы дали, думая, что нужна она ему для червей или еще для чего-нибудь хозяйственного. Но он здесь же у костра вынул из своего бывшего пиджака флакон «Тройного» одеколona и трясущимися от нетерпения руками залил его в банку, разбавил водою из Сухоны и, чуть помешав, влил в себя эту белесую суспензию. Затем, крикнув, произнес нежно: «Пошла хворобушка...»

Закусив этими замечательными словами свое душистое питье, он отбыл под ближайший куст. Некоторое время спустя от куста раздалось невнятное пение вроде «болять мои раны в глыбаке», перемежавшееся храпом. Пора было и нам вернуться под нашу временную крышу и хорошо выспаться.

Россия!.. Кто здесь правит?

Утром предстояло на свежую голову обойти город и наметить интересные объекты для запечатления их на бумаге. Но там, в Доме крестьянина, нас ждало третье открытие — местный домкрестьянский сортир-эрмитаж, построенный в былые крепкие времена из широченного соснового теса в стиле русского «кантри», представлял из себя экспозицию талантливейших творцов нашего Отечества, которые заполнили его стены незабвенными победно-фаллическими рисунками и виршами, выполненными разнообразными подручными материалами и техниками. Одна из надписей, самая идейная, резанная искусной клинописью перочинным ножичком на темно-коричневых досках терпеливым старателем, глубоко запечатлелась в нашей памяти:

Пусть послужит наш сортир
Очагом борьбы за мир.
Поджигатели войны
Срать в сортире не должны.

О пьянствующих земляках домкрестьянский дежурный — глубокий старик — после рюмки угощения говаривал, что пьют они не более и не менее, чем вся Россия, а виденное нами относится к Москве. «Тотьма издавна назначена была местом для ссылок. Это крест наш, но если при царях да императорах к нам ссылали важных раскольников или революционных потрясателей, то нынче награждают бездельным и пьянским людом. Списанные в столицах со счетов на их начальственном языке называются тунейдцами. Вместо этого народа лучше бы в город солдат поставили. Бабы бы лишние ягорились, толк бы был да приплод, а с этих что — срам один да развращение наших человекв происходит. Вот так-то...» — заключил он, оправдываясь перед нами в нехороших городских картинках.

И добавил: «Любопытствуйте у нас, конечно, но со своими блокнотиками-то будьте поаккуратнее, не то накинутся на вас, как на свежачок, и оберут. У них своя простая система — днем где-нибудь что-нибудь поднадыбят, вечером отгуляют, а утром лечатся». После таких наставлений наш романтический настрой на Тотьму стал меняться.

Дом крестьянина своим парадным крыльцом выходил на главную площадь города. Слева от него выделялся среди деревьев старинный храм без куполов, превращенный в клуб, за ним, на бывшем церковном кладбище, была танцплощадка. С правой стороны против храма-клуба находилась трибуна, за которой возвышался на голубом пьедестале серебряно-гипсовый бюст лыски Ленина. Прямо по оси крыльца с другой стороны, ближе к реке, торчал единственный в городе зелено-бурый пивной ларь.

Поутру, выйдя со сна на крыльцо, мы обалдели от увиденного — вся площадь до краев была забита безликою молчаливою толпой. Что здесь происходит? Тьма людей в такую рань! Что за демонстрация? Война, что ли, объявлена или новая революция началась? И почему они молчат? Как-то даже тревожно сделалось нам от этого стояния.

Выползший за нами на крыльцо домовый дед с самокруткою спокойно прокомментировал событие: «Лечиться стоят, к пивному опохмелку готовятся. „Лекарство“, видишь, в одной будке дают, и то приплывает оно на пароходе сверху из Нюксеницы, да бочки с пристани выборные катят вручную. Через полчаса должны прикатить. Вот и ждут, чтобы в себя прийти после вчерашних подвигов. Выборным первым нальют, затем всем по очереди. Пиво в Тотьме не варят, а привезенных бочек на всех не хватает. Раньше своим хватало, а после нашествия тунеядцев, понятно дело, недостает. У нас же плановое хозяйство. Так что — кто поспел, тот и съел. Этот шпек-

такль каждое утро здесь дается. Всех тунеядствующих можете посмотреть и ознакомиться — они перед вами».

Мы не сразу разглядели, что толпа образует между храмом и трибуною плотную многоколенную очередь, которая заполняет всю площадь и концом своим уходит в поднимающуюся утөрьем улицу деревянных домов. В полчаса, оставшиеся до «спектакля» — приката бочек, мы успели дойти до «Дома тунеядцев». Собственно, она упиралась в него. Дом их оказался знатным пятистенком из моей книжки, но приведенным в такой непотребный вид, что мог бы в Великую Отечественную войну получить инвалидность первой группы. Глазницы окон разбиты, филенки дверей проломаны, покосившаяся печная труба наполовину разобрана. Тес на крыше попорчен, от чердачного полукруглого оконца остался один проем. Контраст серобурых бревен с ярко-грязными ситцевыми подушками и красными стегаными одеялами, которыми заткнули битые проемы двухэтажного жилья, был впечатляюще живописным. Когда-то крепкий тотьменский дом зиял своими ситцевыми ранами.

Но все-таки почему один из старинных домов Тотьмы был отдан столичным тунеядцам? Потому, что они столичные? Или по каким-то другим причинам? У дома на лавочке лежал уже зело пьяный тунеядец с недопитой бутылкой в руке. Увидев нас и отпив глоток из бутылки, он признался, что алкогольная болезнь лишила его части сознательности и внутренней температуры, оттого он сам себе неуправляем и свободен во всяческих проявлениях, даже неподходящих. А затем, глотнув снова, напал на нас с требованием предъявить документ на право общения с ним. «Вы что, журлисты, что зырите здесь кругом, али водочные продаватели, что указ на меня имеете? А ну, покажь свой ордер на разговор со мной. А так не поверю вам, и все тут! Может, вы шиши карманные, а больше никто!» И, отхлебнув еще из бутылки, прохрипел: «Наше дело правое... нам что... поднять да бро-

силь... а больше ничего...» Мы представили, что будет в скором времени, когда тьма тунеядцев, приняв утрешнюю дозу, разбредется по городу. Пора думать об эвакуации, и лучше самолетом, а блокноты свои совсем не вынимать из рюкзаков.

Вернувшись на площадь, у нашего крыльца мы услышали, как опухший тунеядец, обращаясь к побитому, показав очередь, сказал:

— Вон, глянь, снова Шпынь непотребный на опохмелок опоздал.

— А кто такой Шпынь, в чем его непотребство и чем оно отличается от вашего потребности?

— Да водку он не пьет, даже на халяву, — в рот не берет, то есть напрочь не потребляет!

— А откуда же пьян?

— Да болтушки разные делает, например винцо сладкое, «Клюковку» с пивком разболтает — это в лучшем случае, а то и еще что-нибудь чудное придумает, одним словом, изыскивает всякие тонкости.

— А почему Шпынь?

— Ну это понятно! Ругательств матерных не терпит, совсем не переносит, шпыняет всех за них — отсюда Шпынь.

— Аристократ он у нас, из большого начальства вышел.

— Да какой он аристократ, — возмутился стоящий рядом откровенный тунеядец, — «дай под зад и ори сто крат» — вот он кто!

— Ты не прав, — возразил битый, — в Москве до питья был он при власти, служил в ихней главной академии марксистским толковником, разъяснял, значит, кого по их бородатым законам уесть и порушить необходимо, но по пьяни лишка про что-то болтанул и загремел со всех своих вершин, да через это запил, до ручки дошел, с семьей разбежался, опосля его в тунеядцы скинули и сюда к нам перевоспитывать отправили.

Россия!.. Кто здесь крайний?

— Снова проспал, машину не подали, без пива на сегодня останется, значит, — сказал опухший.

— Ничего, лосьон в универмагской парфюмерии есть, им обойдется, — успокоил битый.

И вдруг при этих словах мы увидели апофеоз тотьменского бытия. С угорья улицы, куда уходил хвост очереди, показался высокий спешащий седой человек, в больших роговых очках, с лицом алкогольного академика. Осмотрев со своего висока всю площадь, уставленную бесконечными тунеядцами, сбавил ход, поняв, что опоздал, и, подойдя к хвосту очереди, хриплым начальственным голосом спросил, обращаясь ко всей площади:

— Россия!.. Кто здесь крайний?

Сосредоточенная очередь повернула свои головы в сторону Шпыня, и что-то похожее на вразумительность мелькнуло в их глазах. Но через малое время шум катящихся бочек снова вернул всех в состояние ожидания, а через минуту на лицах передовой части очереди уже появилось предчувствие предстоящего блаженства. И вскоре волшебная терапия началась.

Да, Россия, жизнь твоя утрешняя — жизнь ожидательная.

Содержание

I

О, матка Броня, возьми меня в шпионы	8
Машка Коровья Нога	13
Медный всадник	18
Томас Карлович Японамать	24
Поцелуй	28

II

Площадь Урицкого	39
Анюта Непорочная	50
Гоша Ноги Колесом	63
Трамвай	76
Сэхэшовские «антики»	83
Ваня-жид	93

III

Капитан	110
Василий Петроградский и Горицкий	120
Жизель Ботаническая	130
Ангелова кукла	143
Мытарка Коломенская	154

IV

Последние	171
Альбом брандмайора	180
Последний швальник императора	186
Легенда Петровского острова	193
Куроводец	204
Островитянин	214

V

Водяной	223
Потрясатель Ермолай	226
Бобылиха Нюхалка	230
Бобыль Продувной	237
Россия!.. Кто здесь крайний?	245

По всем вопросам, связанным с приобретением этой и других книг Издательства Ивана Лимбаха, обращаться в

Торговый Дом «Гуманитарная Академия»

Санкт-Петербург: Лесной пр., д. 8

(ст. метро «Площадь Ленина»)

тел. (812) 542-82-12; 541-86-39

(книжный магазин и оптовый склад)

Москва: Волоколамское шоссе, д. 3 (ст. метро «Сокол»)

тел. (095) 158-86-81; 367-06-90; 8-902-172-03-05

E-mail: humak@spb.cityline.ru; gumak@mail.ru

Торговый Дом «Гуманитарная Академия»

предлагает магазинам и другим книготорговым организациям широкий спектр художественной и гуманитарной литературы *по издательским ценам*. В числе наших партнеров петербургские издательства «Юнимет», Издательство Ивана Лимбаха, ИЦ «Гуманитарная Академия» (для всех — эксклюзивное представительство), «Гиперион», «Евразия», «Петербургский писатель», «Фонд русской поэзии», «Речь», «Геликон Плюс», «Академический проект», «Блиц», «Культ-Информ-Пресс», «Ретро»; московские издательства ИОИ, ОГИ, «Языки русской культуры» («Гнозис»), «Республика», «Алетейа», «Крафт+» («Аграф»), «Время», ИГ «Прогресс», «Фаир Пресс», «Наш дом», Издательство им. Сабашниковых, «Корона-Принт», «Лабиринт», «Дограф», «Труд», «Художественная литература», «XXI век — Согласие». Также у нас постоянно представлен, с минимальной торговой наценкой, ассортимент издательств: «Искусство-СПб», «Журнал „Звезда“», «Церковь и культура», «Сага», «Знание» (все — СПб.), «Аспект Пресс», «Дружба народов», «Звонница-МГ», «Интелвак», «Прогресс-Традиция» (все — Москва), «Янтарный сказ» (Калининград).

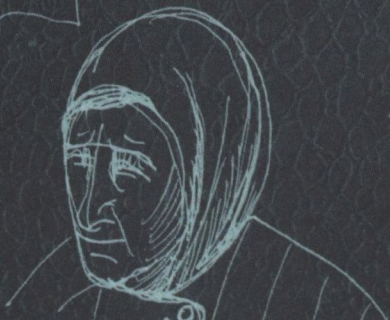
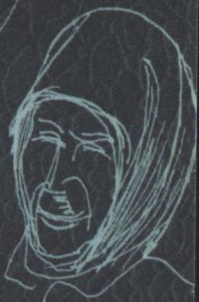
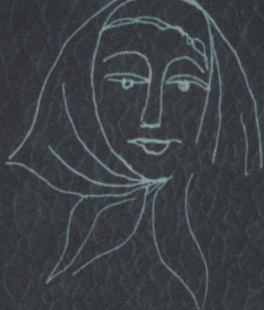
Торговля оптом и в розницу

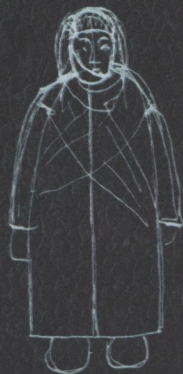
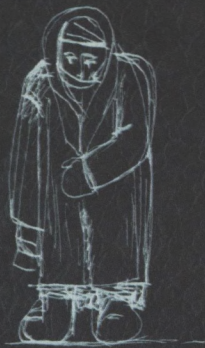
за наличный и безналичный расчет

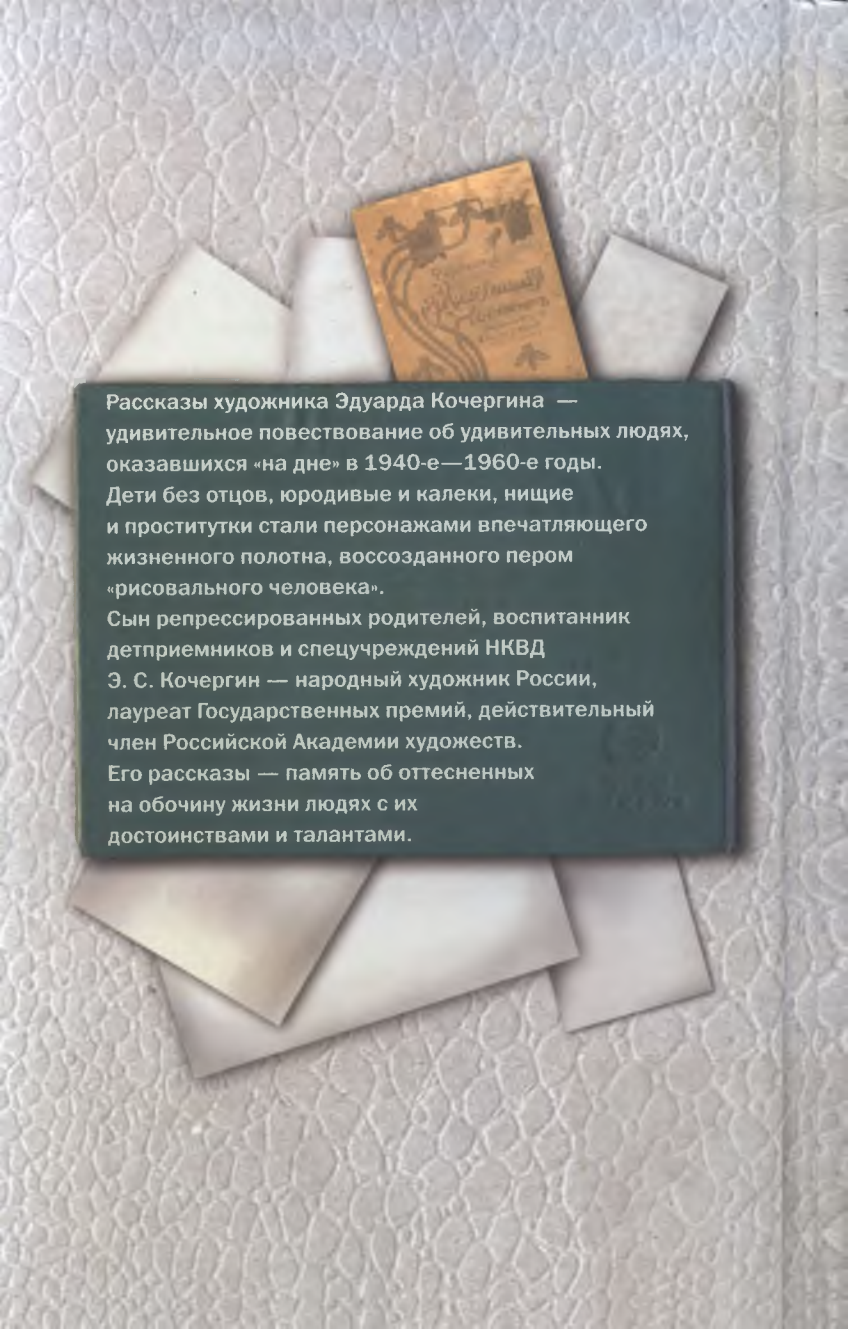
Комплектование библиотек

Работа по заказам

Индивидуальный подход в системе скидок







Рассказы художника Эдуарда Кочергина — удивительное повествование об удивительных людях, оказавшихся «на дне» в 1940-е—1960-е годы. Дети без отцов, юридические и калеки, нищие и проститутки стали персонажами впечатляющего жизненного полотна, воссозданного пером «рисовального человека».

Сын репрессированных родителей, воспитанник детприемников и спецучреждений НКВД Э. С. Кочергин — народный художник России, лауреат Государственных премий, действительный член Российской Академии художеств.

Его рассказы — память об отесненных на обочину жизни людях с их достоинствами и талантами.